

Виктория и Ренэ
Слизовские



ПОЛЬСКО-СИБИРСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Россия — наша любовь



Виктория Сливовская
Ренэ Сливовский
Россия – наша любовь
Серия «Польско-сибирская библиотека»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67747743
Россия – наша любовь: Алетейя; СПб; 2022
ISBN 978-5-00165-442-1

Аннотация

«Россия – наша любовь» – это воспоминания выдающихся польских специалистов по истории, литературе и культуре России Виктории и Ренэ Сливовских. Виктория (1931–2021) – историк, связанный с Институтом истории Польской академии наук, почетный доктор РАН, автор сотен работ о польско-российских отношениях в XIX веке. Прочно вошли в историографию ее публикации об Александре Герцене и судьбах ссыльных поляков в Сибири. Ренэ (1930–2015) – литературовед, переводчик и преподаватель Института русистики Варшавского университета, знаток произведений Антона Чехова, Андрея Платонова и русской эмиграции. Книга рассказывает о жизни, работе, друзьях и знакомых. Но прежде всего она посвящена России, которую они открывали для себя на протяжении более 70 лет со времени учебы в Ленинграде; России, которую они описывают с

большим знанием дела, симпатией, но и не без критики. Книга также является важным источником для изучения биографий российских писателей и ученых, с которыми дружила семья Сливовских, в том числе Юрия Лотмана, Романа Якобсона, Натана Эйдельмана, Юлиана Оксмана, Станислава Рассадина, Владимира Дьякова, Ольги Морозовой.

Содержание

Вместо введения	7
Виктория и Ренэ Сливовские. Россия – наша любовь	23
Несколько слов вначале	24
Во Франции и в Польше (1930–1949 гг.)	26
Моя Франция	26
Первая встреча	39
Вторая встреча	40
Встреча с Польшей	65
Моя Польша	78
Учеба в СССР	124
Готовимся к отъезду. В пути	124
В послевоенном Ленинграде	131
70-летие Сталина. Поездка домой на зимние каникулы	152
Второй семестр первого курса	159
Сергей Бернадский, сын Виктора	168
Учеба и роль Землячества	173
Первомайская манифестация и начало большой любви	193
На втором курсе. Визит в ЗАГС	206
Молодые родители и учеба. Летние каникулы	225
Снова в Ленинграде. Комнатка у Марии	236

Ивановны. Смерть Сталина
Конец ознакомительного фрагмента.

241

**Виктория Сливовская,
Ренэ Сливовский
Россия – наша любовь**

© В. Сливовская, Р. Сливовский, 2008

© М. Крисань, перевод на русский язык, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Вместо введения

Книга *Россия – наша любовь* была издана в Польше в 2008 году, но любовь Виктории и Ренэ к России продолжалась еще много лет. Продолжалась, несмотря на то, что 23 июня 2014 года Ренэ скончался, Виктория вышла на пенсию, а польско-российские политические отношения опять ухудшились. За последние 14 лет они написали еще несколько книг, ряд научных и публицистических статей, дали интервью многим журналистам и приняли участие в различных конференциях. Их научное наследие все увеличивалось и является одним из самых надежных источников знания поляков об истории России и русской литературе. 27 декабря 2021 года не стало Виктории. С уходом Виктории и Ренэ Сливовских закончилась целая эпоха в польской науке, по крайней мере в польском россиеведении.

Не имеет смысла перечислять все научные работы, которые они издали за последние годы, а тем более называть научные конгрессы, конференции, семинары и проекты, в которых исследователи приняли участие. Однако, хочется обратить внимание читателей на главные, изданные ими за последние 14 лет книги. Это, прежде всего, подготовленный Викторией и Ренэ в сотрудничестве с Яном Трынковским дневник Юлиана Гляубича Сабиньского – польского ссыльного, попавшего в сибирскую ссылку в 1839 г. За полтора го-

да удалось перевести на русский язык эти объемные мемуары¹. Книга вызвала живой отклик во всей России, но особенно в Иркутске, в котором Сабиньский прожил почти 20 лет. Это бесценный источник для местных историков, в котором подробно описан не только дом Волконских и другие дома представителей иркутской элиты, которые он посещал как учитель иностранных языков и друг семьи, но также главные события культурной жизни города.

После смерти своего супруга Виктория продолжила заниматься сибирской тематикой, которая в XXI веке стала ее страстью. В 2015 году она подготовила к изданию альбом (штамбух) Циприана Дунина-Вонсовича, сосланного в Омск в 1850-х годах². Двумя годами ранее в России вышел перевод одной из ее самых популярных книг, посвященной побегам польских ссыльных из Сибири³. Виктория стала также одним из инициаторов русского издания книги Яна Трынковского, включающей его лучшие статьи по истории польско-сибирских отношений, которая в скором времени выйдет в России⁴. С 2009 года Виктория очень внимательно следла за раз-

¹ *Сабиньский Ю. Г.* Сибирский дневник: в 2 т. Пер. с польск. О. Г. Басовой. Иркутск: Иркутский музей декабристов; ООО «Артиздат», 2014–2015. (Польско-сибирская библиотека. Т. 4, 5)

² *Sztambuch Cypriana Dunin-Wąsowicza. Red. W. Śliwowska.* Warszawa, 2015.

³ *Сливовская В.* Побег из Сибири. Пер. В. Хорева, Л. Гвозд, В. Мочаловой, Е. Шиманской. СПб, 2013.

⁴ Польское издание: *Trynkowski J.* Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu. Warszawa, 2017.

витиём серии «Польско-сибирская библиотека»; являясь активным членом редколлегии, она многократно подсказывала, какие книги заслуживают издания. Виктория была также одной из самых активных членов так называемой Сибирской комиссии Польской академии наук (Комиссия исследования истории Сибири ПАН). В один из своих недавних приездов в Россию Виктория посетила Сибирь для участия в организованной в 2015 году в Омске конференции «Польские ссылки в Сибири во второй половине XVIII – начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири». Все это хорошо показывает, насколько ей была важна и близка тема истории Сибири.

Виктория не ограничивалась в своих интересах только XIX столетием. В 2014 году она стала соредактором воспоминаний о Варшавском восстании 1944 года. Один из опубликованных текстов был написан 13-летней Висей Заленской (Викторией Сливовской)⁵. Высказывалась она также и как публицист в периодических изданиях «Gazeta Wyborcza» и «Tygodnik Powszechny», обычно защищая академическую науку перед «лжеучеными». Всегда делала это с чувством юмора, иронически, ссылаясь на авторитеты и доступную всем научную литературу.

Внимания заслуживают также книги, подготовленные в связи с 80-летием Ренэ и Виктории. Это собрание их клю-

⁵ Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa. Red. W. Śliwowska, J. Marszalec, A. Wodzyński. Gdańsk, 2014.

чевых статей, систематизированных и опубликованных в пяти частях. Если говорить о литературоведческих текстах Ренэ, то это – «чеховиана», литература Оттепели, писатели и поэты Серебряного века и русской эмиграции, литература СССР, а также короткие воспоминания об ушедших из жизни выдающихся литературоведах⁶. В томе Виктории также пять частей, каждая из которых включает несколько статей по истории XIX века. Разделы следующие: декабристы, русская эмиграция того времени, восстания и мятежи, ссылка в Сибирь и прочие материалы⁷. Конечно, эта подборка ключевых текстов отражает точку зрения авторов и редакторов.

⁶ Śliwowski R. Rusycystyczne peregrynacje. Red. W. Śliwowska. Warszawa, 2010.

⁷ Śliwowska W. Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku. Opr. A. Brus. Warszawa, 2012.



Вручение сюрприза – книги «Вокруг польского присутствия в России. Штаббух Виктории Сливовской к 90-летию»: Виктория Сливовская и Петр Глушковский. Залесе, 6 июня 2021 г.



Последняя поездка в Россию. Прогулка с профессором Збигневом Вуйчиком на Иртыше. Омск 2015 г.

Александр Герцен – это еще одна любовь Сливовских. Уже после смерти Ренэ Виктория решила переиздать книгу, которую они написали в 1973 году⁸. У них никогда не было сомнений, что Герцен – это лучший пример непростого польско-российского сближения и взаимопонимания. Виктория шутила, что новое издание книги на 10 % короче из-за вычеркнутого слова «революционный», которое в 1970-е годы должно было появляться в такой биографии по несколь-

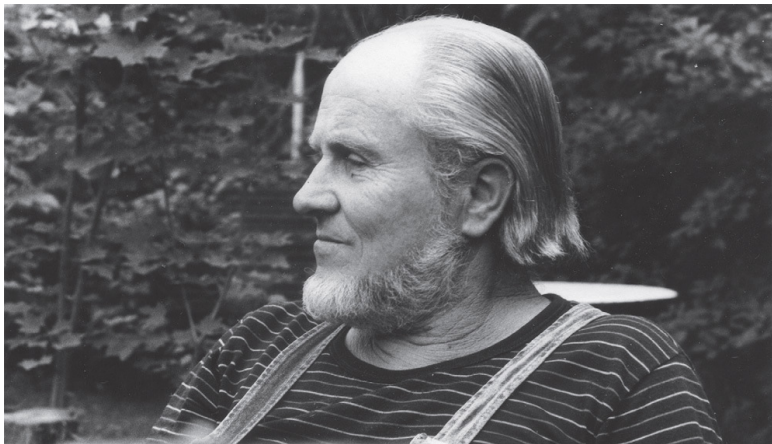
⁸ Śliwowski R. i W. Aleksander Hercen. Warszawa, 1973.; Śliwowska W. Aleksander Hercen. Warszawa, 2017.

ко раз на каждой странице. В XXI веке биография Герцена вновь стала очень актуальной.

После смерти Ренэ в новом здании библиотеки Варшавского университета была организована выставка его научных работ. Не помню, чтобы какой-то другой ученый был удостоен такой чести. В самом престижном месте библиотеки, рядом с папским престолом у входа в главный читальный зал, находилось шесть стендов, в которых были показаны главные сочинения Сливовского, сгруппированные по нескольким проблемам, представляющим его широкие научные интересы. В свою очередь Виктория стала в 2019 году почетным доктором Университета имени Яна Кохановского в Кельце. Значительно раньше она получила это звание от Российской академии наук.



Виктория в доме на ул. Багатела



Ренэ в Залесе

Издательской новинкой является книга, а точнее альбом, подготовленный друзьями, учениками и знакомыми Виктории к ее 90-летию⁹. Издание удалось осуществить в полной тайне от юбилярши, благодаря чему книга стала для Виктории полной неожиданностью. В альбоме собраны очень разные тексты: от воспоминаний и научных статей до занимательных историй, принадлежащие перу нескольких поколений исследователей – от студентов и аспирантов до сверстников Виктории, разбросанных по свету от Нью-Йорка и Парижа, польских городов до Москвы, Казани и Сибири. Эта «пестрота» книги показывает, насколько разнообразной является деятельность Виктории.

Виктория и Ренэ всегда, в том числе и в последние годы, помогали молодым исследователям: историкам, литературоведам, россиеведам: встречались с ними, обсуждали их диссертации, подсказывали архивы, в которых можно найти новые источники, дарили литературу и бесценные советы. Ренэ был одним из самых любимых преподавателей Института русистики Варшавского университета. Ярким примером диалога Виктории с молодежью является ее встреча со студентами Института русистики, которая была записана и опубли-

⁹ Wokół polskiej obecności w Rosji: sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia. Red. W. Caban, P. Głuszkowski, S. Mulina, E. Niebelski, A. Nowak. Warszawa, 2021.

кована в упомянутом альбоме.

Книга «Россия – наша любовь» была издана в 2008 году и сразу стала в Польше бестселлером. И не только среди россиян, историков и литературоведов. Она вызвала заслуженный интерес среди польской, и не только, интеллигенции, породив волну дискуссии о современной России¹⁰. Книга получила также ряд положительных рецензий. И это неудивительно, потому что никто в Польше так хорошо не знал Россию и ее жителей.

¹⁰ *Войцеховский М.* Лучшая Россия // Новая Польша. 2009. № 1. С. 32–34; *Бовца Д.* Образцовая дружба // Новая Польша. 2009. № 3. С. 51–54; *Крисань М.* Рецензия на книгу // Ab Imperio. 2009. № 4. С. 435–439; *Щукин В. Г.* Рецензия // Новое литературное обозрение. 2009. № 1. С. 371–374; *Пиотровска И.* Научная, поведенческая и повествовательная стратегии польского русиста // Toronto Slavic Quarterly. 2013. № 43. P. 313–332.



Виктория и Ренэ в начале XXI в.



Конференция молодых исследователей «Литература и власть. Связи на русской почве XVIII–XX веков». Библиотека Варшавского университета, 17 мая 2017 г.

Перевод на русский книги «Россия – наша любовь» и ее издание было мечтой Виктории и Рэне Сливовских с 2008 года. Не исключено, что они думали об этом еще во время работы над книгой. Когда в мае 2009 года Постоянное представительство ПАН при РАН пригласило Сливовских с лекцией в Москву, они сразу согласились, чтобы использовать

поездку для встречи с друзьями и презентации книги в России. В мае Виктория Сливовская писала по поводу поездки, что, несмотря на занятость, они с удовольствием приедут в Россию для презентации книги. С другой стороны, как знатоки России они знали, что всегда могут появиться и препятствия:

«Спешить не любим очень, а о перелете не может быть и речи: это настоящее мучение (пробки и т. д.). Что с жильем? Кто покроет расходы на поездку? Приехать без книг – нам такая перспектива не улыбается, а самим нам было бы трудно тащить их с собой (они упакованы в пачки по 6 штук), да и нужно решить, сколько мы хотим взять в Москву из второго, исправленного издания, которое, к нашему удивлению, тоже хорошо продается.

Мы не обидимся, если по каким-то причинам (мировоззренческим, финансовым и т. д.) наш приезд в Москву не состоится. Может быть, вместо этого мы поедем на поезде в Омск и Тобольск, где мы еще не были и куда нас приглашают? Конечно, ЕБЖ...»¹¹

Во время презентации их друзья и знакомые несколько раз подчеркивали, не только то, что книга заслуживает перевода, но и то, что именно этот перевод может показать, как хорошо знают, изучают и просто любят Россию в Польше. К сожалению, долгие годы не удавалось найти финансиру-

¹¹ Письмо В. Сливовской П. Глушковскому от 15 мая 2009 г., из личного архива.

ние для реализации задуманного перевода. Виктория перестала уже верить в шанс издания книги в России. На помощь пришла «Национальная программа развития гуманитарных наук», благодаря которой Варшавский университет смог заняться подготовкой издания книги на русском языке.

В книгу внесены лишь незначительные изменения по сравнению с оригиналом. Виктория Сливовская была постоянно на связи с переводчиком и по ходу работы поясняла все места, нуждающиеся в комментариях. Отдельной частью работы стало составление именного указателя, который был отредактирован и дополнен Викторией. Несмотря на возраст и сложные условия в связи с пандемией Виктория Сливовская была полна энергии и нашла возможность разыскать и перепечатать оригинальные цитаты из всех писем (некоторые из них были уже переданы Сливовскими в варшавские и московские архивы; переписка с Юрием Лотманом попала в Тарту), которые Сливовские получали от своих русских друзей и знакомых. «Помимо радости от перспективы публикации «России...» на нас свалилась огромная работа: Анджею [сыну Сливовских – *П. Г.*] предстоит отсканировать фотографии, а мне – проверить цитаты, ведь они должны быть взяты из оригиналов, написанных на русском языке. И вот здесь возникла проблема: я отдала письма в архив ПАН во дворце Сташица, некоторые передала авторам, или в архивы в Тарту и Москве. Я также раздала цитируемые книги и

теперь начала их искать»¹². Издание на русском языке отличается от оригинального фотографиями: часть из них была утеряна в последние годы, пропали также и сделанные ранее сканы, а макет польского издания был украден вместе с компьютерами прямо из издательства «ИСКРЫ», поэтому настоящее издание дополнено новыми фотографиями, в особенности за период 2008–2021 годов.

Несмотря на неблагоприятную политическую обстановку и многие другие препятствия в появление этой книги верило много людей. Она не появилась бы без поддержки ряда друзей Виктории, которые до последнего момента помогали в издании книги. От имени Виктории хочется, прежде всего, поблагодарить переводчицу – Марию Алексеевну Крисань и Светлану Анатольевну Мулину, которая была первым читателем книги. Своими советами помогали Веслав Цабан (Университет имени Яна Кохановского в Кельце), Борис Владимирович Носов и Виктория Валентиновна Мочалова (Институт славяноведения РАН), Леонид Ефремович Горизонтов и Алексей Григорьевич Васильев (Высшая школа экономики), а также ряд других ее друзей. Я признателен многим сотрудником Кафедры русистики Варшавского университета, особенно Магдалене Домбровской за поддержку инициативы и помощь на всех этапах издательской работы, а также университетскому отделу бухгалтерии за понима-

¹² Письмо В. Сливовской П. Глушковскому от 20 января 2020 г., из личного архива.

ние тех проблем и сложностей, с которыми было сопряжено издание книги в России. Хотелось бы выразить отдельную благодарность всем друзьям и знакомым Сливовских за возможность использовать фотографии из их личных архивов.

Варшава, 5 января 2022 года

Петр Глушковский

Виктория и Ренэ Сливовские. Россия – наша любовь

*«Россия была, есть и будет. Была, есть и будет
великой – в хорошем и плохом».*

Рышард Капуцинский

*(Kapuściński R. Notatka z 26 maja 1994 roku // Duży
Format. № 27 / Gazeta Wyborcza. 2007. S. 10).*

Перевод с польского Марии Крисань

Несколько слов вначале

На первый взгляд название этой книги может показаться претенциозным, поскольку оно отсылает читателя к известному французскому фильму «Хиросима, моя любовь» Алена Рене, но оно наиболее полно выражает то, о чем мы хотим написать. – О том, что в наибольшей степени повлияло на нашу личную и профессиональную жизнь на всей ее протяженности: на увлечения и неприязни, достижения и разочарования, конфликты и дружбу – о том, что нас притянуло к себе навсегда и оттолкнуло от себя навсегда. И, вероятно, не будет ничего оригинального, если мы скажем, что у любви есть много разных имен и разные с ней связаны превратности судьбы. Ведь она бывает безумной и безрассудной, бездумной и жестокой, оправданной и несущей взаимную радость, полной сомнений и колебаний. А бывает любовь и безответной.

Наступили времена, когда давние активисты стыдятся и скрывают, где учились, даже в том случае, когда их учителями были всемирно известные дирижеры и композиторы. Еще одни неожиданно меняют цвет с красного на черный, думая, что этого никто не заметит. Не принимается во внимание то, как они вели себя в прошлом, что представляли собой, важна лишь их вера в Великую утопию, в которую они уверовали в молодости, независимо от того, какую цену им пришлось

за это заплатить, или также не принимается во внимание место получения образования, которое само по себе сегодня является дискредитирующим в глазах оценивающих и раздающих блага. Впрочем, в польской истории это происходит не впервой. После обретения Польшей независимости в 1918 году Александр Ледницкий публично призывал не выбрасывать книг классиков русской литературы из домашних библиотек и не отделять себя от части великой мировой культуры. Он убеждал, что придет время, когда эмоции утихнут, их сменит тоска по этим книгам, а их отсутствие на полке будет вызывать неловкость...

Для начала, возможно, стоит коротко рассказать о том, кем мы были, отправляясь в неизвестное – в Советскую Россию или, как тогда повсеместно говорили, в Советский Союз.

Во Франции и в Польше (1930–1949 гг.)

Моя Франция

Город, в котором я родился, Фирмини, не оставил в моей памяти приятных воспоминаний. Я помню годы глубокого кризиса и всеобщей безработицы. Вижу мрачные лица понурых людей, стоящих на улицах в очереди за супом. У него даже был запах. Но мой дядя Радецкий говаривал, что уж лучше было бы нюхать дерьмо, убирая его руками, лишь бы иметь хоть какую-то работу.

Вижу, как отец ведет меня за руку, а под мышкой тащит перевязанные бечевкой книги. Я знаю одну, потому что часто ее смотрел, – это медицинская энциклопедия с цветными иллюстрациями частей тела в разных разрезах и с разным увеличением... Я должен был стать врачом Юдымом¹³ – самая большая, неосуществленная мечта моего отца, но тогда я еще не знал об этом. Тем временем нам надо было все эти сокровища продать какому-то букинисту. Мне особенно жаль именно эту книгу, но зато на обед у нас будет гороховый суп, а еще плитка шоколада «Purier». Черного. Десерт-

¹³ Врач Томаш Юдым – герой романа «Бездомные» С. Жеромского. *Прим. пер.*

ного, как мы его называем. Мне бы хотелось молочного, но я не смею об этом просить. Только это настоящий шоколад. Я подслащиваю его кубиками сахара, но уже когда возвращаюсь домой.

Дом... У нас это был угол у тетки. Мы ютились втроем на одной узкой кровати. А дом – это вовсе не дом, а две комнаты в бараке, как тогда говорилось – в «колонии», т. е. ряд жилищ, устроенных на месте бывших военных казарм. Комнаты были просторные, как и положено казармам. Но и жильцов было много. Слева, на возвышении, располагался ряд пристроек с плохо закрывавшимися дверьми, с глубокими дырами в цементном полу кишмя кишасшими белыми червями, где можно было присесть и справить нужду.

То, что мы спали на одной узкой кровати, не вспоминается мной как что-то неприятное; видно у меня был здоровый сон. Зато перед глазами стоит поистине театральная сцена, связанная с этой кроватью: на ней лежит моя мать, болеющая испанкой, разновидностью тяжелого гриппа, и на весть о смерти своего любимого Маршала¹⁴ она приподнимается с кровати и падает на подушку, распростерев руки и громко крича: «Польше конец!». Эта простая женщина не разбиралась в политике, но она инстинктивно чувствовала, что происходит что-то нехорошее. По родному краю тосковали все, хотя прогнала их оттуда не жажда приключений, а нищета.

¹⁴ Речь идет о маршале Ю. Пилсудском, скончавшемся 12 мая 1935 года. *Прим. пер.*

Но об этом позже.

На стене напротив кровати появилась известная теперь фотография вождя с руками на рукоятке сабли и с черной лентой на уголке. Я с любовью перерисовал ее. Мне особенно нравились скрещенные, сильные, красивые руки. Сабля меньше.

Одним словом, ситуация была для нас критической. Отец больше не преподавал в польской школе. Как и многие другие, он искал работу. Любую. И находил. Как – я не знаю. Мы так часто переезжали с места на место, что я не могу сегодня восстановить хронологию этих переездов.

Как луч света в моем раннем детстве помню я пребывание у мадам Росси, владелицы огромного, как мне тогда казалось, фермерского хозяйства. Здесь я впервые увидел, как растет табак – он был для меня настоящим лесом, в котором прятался, – с желтыми и розовыми цветами. У розового были более красивые, продолговатые и слегка заостренные листья. По утрам мне еще нравилось проводить осмотр длинных гряд, на вершине которых появлялись маленькие фиолетовые верхушки спаржи со спрятанными в земле белыми стеблями. Я не помню, чтобы они мне нравились на вкус.

Очень волнующим был день возвращения «нашей» повозки из соседнего города – из нее вытащили большой пахнущий деревом сундук, а в нем оказалось полным полно сюрпризов: шоколад, конфеты, кофе, макароны, сахар. Мне было поручено распаковать сундук, зная, какое это может до-

ставить удовольствие малышу. Я помню это очень хорошо, хотя годов мне было немного.

Мадам Росси видимо нас очень любила, раз она даже хотела усыновить моего отца, который стал бы наследником немалого имения. Она всегда привозила мне с Корсики, куда она постоянно ездила к своей семье, какие-то подарки, в том числе прекрасные, огромные, сияющие финики в продолговатой коробочке, похожей на пенал. Однажды я получил совершенно новую по тем временам вещь – красную чашку с блюдцем, очень легкую, потому что она была пластмассовая – настоящее чудо! Я пил из нее какао, довольно вяло и с перерывами, поэтому, когда оно однажды остыло, мама, чтобы его подогреть, поставила чашку на горячую плиту, и через мгновение мой любимый подарок от мадам Росси оказался ужасного розового цвета и наполовину расплавившимся.

Однако на юге мы не остались. Маме не нравилась сельская жизнь, ее тянуло в город и к землякам. Итак, мы снова оказались в этом захудалом Фирмини. Но ненадолго. Опять, каким-то лишь ему известным образом отец нашел работу в Фёр, небольшом городке, насчитывавшем около пяти тысяч жителей, упоминавшемся даже в малом энциклопедическом словаре Ларусса как столица провинции «du Forez sur la Loire».

Луара! Боже, как мне нравилась эта река! Сколько же времени я провел там, стоя по колена в воде, с удочкой в руке, занимаясь гнусным делом уничтожения несчастных рыбок,

иногда проглатывавших крючок до самого хвоста. А его еще надо было вытащить, чтобы добраться до следующей жертвы рыболовной страсти. Ужас! Но тогда я мог часами смотреть в одну точку и ждать, когда дернется поплавок. И только это имело значение. Впрочем, дома были рады рыбе, которую я приносил.

Итак, мы в Фёр. Сначала мой отец должен был работать в кассе выплат на местной фабрике месье Нигая, которая производила «fécule», то есть крахмал из картофеля, которого в этом районе было предостаточно. Но появился лучший кандидат. Лучший, потому что он был французом. Тем не менее, и для отца нашлась работа. Он делал все: перегонял фургоны, чтобы отсюда вывозить готовую продукцию, работал в химической лаборатории, рубил дрова, если было нужно... Трудолюбивый, красивый, нравившийся – он хорошо говорил по-французски, что тоже имело значение. Только в случае выполнения услуг вне основной работы на фабрике (например, рубка дерева) мать реагировала нервно (тем более, что отец никогда не умел потребовать дополнительной оплаты). Она считала подобное положение дел унижительным и решительно протестовала. Точно так же, как в Фирмини, когда она строго настрого запретила мне брать угощения. На вопрос: «Что ты ел?», она велела мне, не знаю почему, отвечать: «Картошку с селедкой».

Кстати, знание языка пригодилось моему отцу еще раньше, после того как он отработал по договору у бретонско-

го фермера, – а уехал он во Францию на заработки чуть ли не в 1927 году, – он на юге Франции сделался посредником между часто неграмотными и не знавшими языка поляками и их будущими работодателями. Он также нашел работу для своего младшего брата, моего дяди Юзека, у одного графа, к которому все обращались «monsieur le comte». Дядя Юзек, которому удалось выучить лишь несколько основных слов по-французски, обращался к своему работодателю, допуская ошибку и говоря: «Monsieur le Con». Слово (con) в то время считалось крайне оскорбительным (согласно словарю: вульгарное описание мужского органа); сегодня широко используется как «идиот» или «балбес». Однажды, когда он выполнял какое-то поручение, то именно так обратился к графу при гостях, смутив и развеселив их одновременно, граф подошел к дяде и сказал: «Mon ami, dites-moi „Monsieur tout court”, voulez-vous?». («Друг мой, просто зови меня „Месье” хорошо?»), о чем нам с гордостью после возвращения домой рассказал сам Юзек. Среди поляков, с которыми отец имел дело по работе или исключительно по доброте своей, был в том числе «Антек варшавский», как его звала моя мама. Он провел у нас несколько дней, взамен делясь с нами не слишком утонченными анекдотами. Ему даже дали одежду и пару грошей, но... однажды ночью он исчез, прихватив с собой велосипед. На следующий день два жандарма привели в наш дом «варшавянина», а отец, словно епископ из «Отверженных» заявил, что велосипед он ему подарил или дал на вре-

мя. Он был человеком необычайной доброты и милосердия, и, кроме того, ему, вероятно, было стыдно за соотечественника...

В Фёр мы жили при фабрике, рядом с железнодорожными путями, в одной комнате, которая была одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Жаловаться на отсутствие разнообразия нам не приходилось. Через эту комнату прошло множество людей, очень разных (мама какое-то время подрабатывала, готовя обеды): местных рабочих, заезжих то поляков, то не поляков – белорусов и других славян. Бывал даже немец – инженер, которого месье Нигай выписал для модернизации производства. Он сажал меня на колени и говорил на ломаном польском языке – я не все понимал, но одну его фразу запомнил хорошо: «Ты будешь не французским, не польским, а дойч офицером». Видно мне это импонировало.

Здесь у меня уже была своя кровать – узкая, железная, ужасно скрипучая, как и кровать моих родителей. Скрип заглушал довольно эффективно, хотя и недостаточно, рев проходящих мимо поездов. Оттуда мы переехали на главную улицу в дом мясника, точнее колбасника («charcutier»). Однако мы не задержались там надолго, и я снова оказался в «колонии», где было дешевле и оживленнее. Несколько семей жили в каменных казармах, перед домом был сад, напротив располагались в ряд уборные со сточной канавой. Просто, но неплохо.

Неплохо, потому что рядом была Луара. И не только Луара. Еще Ла Луаз, маленькая речка рядом с домом, чистая и кишмя кишущая рыбой. Мой отец больше не продавал, а по-маленьку покупал книги. Не было проблемы с едой и одеждой. Я уже ходил в школу. К сожалению – единственный во всей школе в чулках на подвязках (!) к своему стыду и досаде. Хотя мама, когда я жаловался, что надо мной смеются, говорила: «Глупцы, они смеются, потому что завидуют тебе!», но что-то мне не верилось.

Четверг в дополнение к воскресенью был свободным от уроков днем. Выходной. Но лишь на словах, потому что этот выходной был хуже всех остальных – так много учителя сваливали на наши плечи: то выучить огромный монолог из «Сида» или «Федры», или какую-нибудь басню Лафонтена, и всегда ту, что подлиннее. В пятницу утром их нужно было читать наизусть.

Но настоящим проклятием, во всяком случае, для меня, были так называемые «résumés», то есть конспекты уроков из учебников, которые мы должны были вы зубрить так, чтобы потом могли их повторить, не переставляя слов. Наихудшей в этом отношении оказалась география, по которой учебник даже по размеру превосходил все остальные (кстати, учебники, тетради, карандаши, ручки, перья, перьевые ручки – все это мы получили в школе бесплатно. Аккуратные ученики в начале года получали новые книги, а неряхи – прошлогодние, зачастую в плачевном состоянии). Конспекты в учебни-

ке географии были жутко длинными, а тот, что о Центральном массиве, занимал три четверти страницы большого формата. И именно его задали учить на одну из пятниц. Но от среды до пятницы меня отделял четверг... К сожалению, он пролетел незаметно, на Луаре с друзьями. Но все-таки оставался вечер. Однако после ужина меня сморило от усталости после целого дня, проведенного на свежем воздухе. Но ничего, я встану рано утром в пятницу и все выучу! Я не встал. Никто не разбудил меня; отец был на работе, мать пошла по магазинам, я едва успел на занятия в находившуюся неподалеку школу. Не беда, у нас перерыв на обед – с двенадцати до четырнадцати. Успеется!

Не успелось. Как только я посмотрел на конспект, я понял, что ничего не выйдет, что за два часа я смогу выучить самое большее небольшой фрагмент... Не стоит даже начинать. Грустный я тащился в школу, мысленно ища решение. Вдруг я вспомнил, что опоздавшим учитель красноречивым движением руки запрещал входить на первый урок. Я медлил, как мог. Когда я подходил к воротам, в ушах аж звенело от блаженной тишины. Не торопясь, я поднял голову к высоко установленному в двери стеклу. И – ужас! Месье Серами поманил меня пальцем, приглашая войти. Однако не все еще было потеряно. Не всех же спрашивают... Может мне повезет? К тому же я сижу за последней партой в третьем ряду. А сидел я там, потому что в третьем классе у месье Серами, которого я ненавидел всей душой, сейчас уже и сам

не знаю, почему, все, ну все без исключения мне не удавалось. Месье Серами научно-демократическим образом разделил класс из тридцати человек на три ряда: первый – для отличников, второй – для хорошистов, а третий – «pour les sancres», то есть для лентяев и неучей. Но эти слова не передают в полной мере, насколько унижительным и позорным было слово «sancres». Даже камчатка для второгодников звучит лучше! В моей душе все было против этой оценки, но я плохо учился, а судьба в лице месье Серами вовсе не поощряла стремления к знаниям. В тот день он сам опоздал и не успел начать урок – этим было вызвано милостивое отношение с его стороны.

И случилась беда. Он начал спрашивать с третьего ряда. Все девять «sancres» встали по очереди и сказали: «Ché pas» (именно так многие произносили «Je sais pas»), т. е. «не знаю». Настал мой черед, и я, не знаю почему, тоже сказал «Ché pas», хотя я всегда, как и мой отец, обращал внимание на то, чтобы говорить правильно по-французски. Наверно, это было связано с подсознательной солидарностью с друзьями из третьего ряда. «Vous resterez après les leçons, et vous apprendrez!» («Останетесь после уроков и выучите!»), – объявил месье Серами.

Уроки заканчивались в четыре часа дня, а это «останетесь» тянулось до пяти часов вечера. Я бездарно проторчал целый час, ничего не понимая из этого проклятого конспекта. В пять месье Серами вызвал меня к кафедре и, убедив-

шпись в моем незнании темы, выгнал из класса. Обычно я приходил домой из школы вовремя. К несчастью, именно в этот день отец вернулся рано с работы – если бы не это, возможно, мне бы повезло. Когда причина опоздания была выяснена, отец, как никогда, разозлился. В ход пошел широкий ремень для правки бритвы, заканчивавшийся металлическими крючками. От того, как меня били, запомнился лишь громкий крик матери: «Только не по голове!» (Второй раз в жизни я получил от отца за то, что якобы дерзил тете Радецкой, но тогда это был всего лишь ремень для брюк, что было не так больно). Лишь спустя время я понял причину резкого недовольства моего отца – он, самоучка, не имел возможности ходить в школу, а мне, фрукту эдакому, надо было всего лишь учиться...

Каникулы я провел, постоянно мучаемый мыслью, что после всего этого я останусь на второй год у месье Серами. В школу я пришел лишь через несколько дней после 1 октября, начала учебного года, потому что заболел. Я попал на перемену и, подойдя к месье Серами, почувствовал, как душа ушла в пятки. Он долго смотрел на меня, как будто раздумывал, и, наконец, сказал: «*Vas chez Monsieur Dumilier*» («Иди к месье Дюмилье»). Боже, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, как и весь этот год, проведенный в классе этого нового и чрезвычайно милого, тучного учителя в роговых очках, с нежным, добрым взглядом. Кажется, моя симпатия к нему была взаимной. Какой контраст

с месье Серами, который имел привычку подкрадываться к ученику, занятому не тем, чем належало, и с удовольствием хватать его за короткие волосы над ухом, заставляя тем самым встать. Бедолага поднимался так высоко, как мог, и когда даже того, что он стоял на цыпочках, было недостаточно, его пронзала настоящая боль.



Фото класса. Ренэ сидит первым справа, единственный в чулках на подвязках

Месье Филипп, учитель следующего, пятого класса, был в свою очередь холериком – он часто заводился по совершенно непонятным для нас причинам. Кроме того, у него, по всей видимости, бывали галлюцинации, поскольку одна-

жды во время урока, когда в классе была гробовая тишина, он внезапно развернулся у доски, на которой что-то писал, и бросил мелом в одного из учеников в первом ряду. Тот, как вратарь, сложив обе руки на животе, поймал мел. Вот тут-то начался шум и небывалое веселье. Когда после нескольких дней без учебы мы все вернулись в класс (после того, как Франция капитулировала, и немецкие солдаты покинули школу, служившую им несколько дней штаб-квартирой), он при виде забытой в углу здоровенной палки оживился, схватил ее и, размахивая ею, произнес речь о педагогической пользе битья, хотя сам никогда к нему не прибегал.

Шестой класс вел грозного вида директор месье Паль. Он никак не мог запомнить мою фамилию и все время называл меня Стависки, поскольку на слуху было похожее имя одного ставшего знаменитостью афериста. Долгое время с передовиц газет не сходили заголовки о «L'affaire Stavisky». Сильно тронутый этим, я встал и сказал, что на самом деле не хочу, чтобы меня идентифицировали с этим мошенником. Директор отреагировал неожиданно и дипломатично: «*Bien. Je t'appellerai par ton prénom*» («Хорошо. Тогда я буду обращаться к тебе по имени»). Итак, благодаря Ставискому, я стал единственным учеником в школе, к которому обращались не по фамилии.

Если я не ошибаюсь, именно в шестом классе происходили «мои встречи» с маршалом Петеном. Он был известной фигурой. Я вместе с другими изо всех сил пел гимн в его

честь:

Maréchal, nous voilà
Devant Toi, le sauveur de la France
Maréchal, Maréchal, Maréchal, Maréchal
Nous voilà
Tous les enfants qui T'aiment
Et vénèrent Tes ans
A Ton appel suprême
Ont répondu – présents!¹⁵

Теперь же мне предстояло встретиться с ним. И даже дважды!

Первая встреча

На одном из уроков рисования месье Паль дал задание, чтобы каждый из учеников что-то нарисовал, что будет передано маршалу в качестве подарка (по случаю его дня рождения или именин, не помню). Конечно, выслать должны были лучшие работы. Все охотно взялись за работу, а директор забрал рисунки. Потом я совершенно забыл об этом. Как вдруг однажды, когда во время обеденного перерыва я пришел домой, мать, очень взволнованная, передала мне пись-

¹⁵ «Маршал, вот и мы / Перед Тобой, спаситель Франции / Маршал, маршал, маршал, маршал / Вот и мы / Мы, дети, любящие тебя / И поклоняющиеся Твоим годам / На Твой высший призыв / Отвечаем – мы здесь!».

мо от самого маршала, лично подписанное им (конечно, я не знал тогда о существовании факсимиле). Маршал писал мне: «*Mon enfant, ton dessin m'a plu...*» («Дитя мое, мне понравился твой рисунок...»). Точно не помню продолжения, но речь шла о том, чтобы я не останавливался на этом и продолжал упорно заниматься. Я летел в школу как на крыльях. Во дворе школы было оживленнее, чем обычно, – целая толпа счастливых, получивших одобрение маршала, гордо показывала письмо с тем же содержанием и такой же подписью...

Вторая встреча

Через какое-то время директора уведомили о том, что маршал Петен будет проезжать на поезде через наш городок. Его следовало достойно поприветствовать всей школой. В тот день, которого все с нетерпением ждали, мы выдвинулись в два ряда к воротам станции и там расположились вдоль ажурной ограды. Ожидание затянулось. Мы строили разные догадки. Может быть, поезд остановится, и маршал выглянет в окно или выйдет на платформу и поблагодарит одного из нас лично за его рисунок? Может... Наконец вдали из-за поворота появился паровоз. Но поезд не замедлил ход, и мы едва пришли в себя, обнаружив, что он промелькнул мимо нас как молния. Вот так мы увиделись с маршалом. Некоторые, правда, утверждали, что видели, как он стоял у

окна и махал рукой, но я не могу этим похвастаться.

Мы жили под властью Виши, в неоккупированной Франции, но немцы то и дело крутились в нашем свободном Фёр.

Помню, как сейчас, их первое появление в городке. Они разместились со своими грузовиками по двум параллельным аллеям, вдоль которых росли мои любимые платаны. На них побежали глядеть – в основном женщины, в том числе моя мать с какой-то француженкой. «Mais ils sont gentils, ces Allemands» («А ведь они вежливы, эти немцы»), – сказала она моей матери, на что та ответила на своем слабом, но всегда выражавшем суть французском: «Жанти, жанти, были бы вы сейчас в Польше, увидели бы, насколько они жанти».

Эти молодые немцы, высокие и красивые, были действительно «gentils»: милые, улыбающиеся, поющие, постоянно занимавшиеся чисткой и без того сверкавшего оружия. Впрочем, у меня с них был доход. Увидев, что я с товарищем пялюсь на них, они подозвали нас и, протянув деньги, попросили «zwei faschen limonade». Товарищ не понял, что происходит, и я вспомнил несколько слов из старого учебника, по которому отец учил меня изредка в свободное время. Когда мы возвращались с бутылками, они обычно не брали сдачу. Конечно, я делился с товарищем, но, как мне помнится, поскольку я считал себя знатоком немецкого, то не совсем справедливо.

Однажды вечером, когда мы сидели на кухне за ужином, раздался громкий стук в дверь. Вошли трое или четверо нем-

цев. И встали молча. Я испугался, помня ужасные рассказы о том, что они вытворяли в Польше. Но мой отец вскочил со словами: «Сразу видно польские морды!». Действительно, это были силезцы, которые искали соотечественников. Их часть некоторое время находилась в Фёр. Мне нравились их визиты, особенно потому что они всегда приносили с собой какие-то угощения. Один из них приходил даже днем, когда отец был на фабрике, которая, впрочем, была рядом.

Вскоре эта фабрика начала работать в силу необходимости на немцев, то есть перерабатывать целые вагоны (с польскими надписями) сахара в какой-то мед, необходимый для изготовления пряников для армии. Я, возможно, что-то путаю, но совершенно точно в нескольких шагах от нашего дома находились целые горы сахара, который под покровом ночи рабочие, в основном поляки, выносили всеми возможными способами: в карманах, в специально сшитых мешочках, которые незаметно прятали под рабочими комбинезонами... Кто-то настолько разошелся, что попытался вынести целый мешок, но был пойман. Отец был солидарен с теми, кто выносил, но сохранял умеренность.

К тому времени я уже закончил школу, и директор порекомендовал меня одному из трех аптекарей в нашем городке, месье Динэ, на место предыдущего помощника, который утонул в Луаре (потому что, как говорили ребята, перел персигов). Название должности было помпезным «*aide-préparateur*», что в переводе звучит не менее громко: помощ-

ник провизора. Чего только не было в этой аптеке! Вкусные леденцы от кашля, шоколад, вино для повышения аппетита, а также замечательные ароматные сиропы от всевозможных недугов. В углу стояла большая коробка полная картинок и игр, предлагаемых постоянным клиентам в рекламных целях. Поскольку они казались мне никому ненужными, я приносил их домой моим младшим сестрам. Видя это, мой отец однажды сказал мне: «Мы выносим сахар с завода, потому что немцы украли его в Польше. Впрочем, месье Нигай и так на это закрывает глаза. Но ты не должен этого делать, потому что это уже воровство». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.

Этот тайно выносимый сахар был для нашей семьи настоящим благословением, особенно для меня. Раньше я должен был объезжать местных фермеров и буквально умолять их продать несколько яиц или кусочек масла. Хозяйки чаще всего отказывали вежливо, но решительно. Деньги не имели значения. Теперь же я диктовал условия, я больше не был попрошайкой, а обладателем твердой валюты – сахара, которому сладко улыбались. Я мог добыть почти все, чего не хватало в городке.

Кроме того, у нас был большой участок земли, который владелец фабрики сдавал рабочим в аренду за символическую плату. Мы выращивали там все, что могли: кроме картошки – овощи, а также замечательную клубнику. Еще там росло чудесное цветущее розовыми цветами персиковое де-

рево, позднее усыпанное сочными плодами. Мы также разводили там кроликов, которым я должен был приносить мешки с травой и сорняками, что было нелегко в жаркие военные годы. Отец продавал кроликов, потому что не мог есть милых животных, за которыми ухаживал. (Шутя, конечно, годы спустя, перефразируя Чехова, я говорил, что кролики съели мое детство, но это высказывание ужасно раздражало мою маму). Каждую субботу родственники из Фирмини приезжали за всеми этими сокровищами и уезжали из Фёр перегруженными.

Я тогда окончил среднюю школу... Эти слова нуждаются в уточнении. Дело в том, что после сдачи выпускных экзаменов (на которые в здание нашей школы съехались ученики со всего кантона, т. е. области) и получения свидетельства, я все равно мог еще посещать дополнительный класс, который как раз был создан. Он был чем-то вроде первого гимназического. Его вел молодой человек, который был намного моложе других наших учителей, и который только появился в нашем городе. Кажется, отец объяснил мне, что это был француз из Парижа, чье «неарийское» происхождение заставило его покинуть столицу. К моему счастью, он попал в Фёр. Я говорю «счастье», потому что этот год стал для меня чередой радостных событий. Его манера ведения уроков, мышления, ведения бесед с нами или, вернее, общения с нами, была настоящим откровением. Нас осталось в классе человек двадцать или около того, что также способствовало установле-

нию связи. Ему никогда не приходилось нас дисциплинировать, мы впитывали каждое его слово. Закончилась зубрежка ненавистных «résumés», хотя приходилось серьезно заниматься французской классической литературой, в том числе уча наизусть большое количество фрагментов. Но это была хорошая школа, в дополнение дававшая возможность вести дискуссии, высказывать собственное мнение, обучавшая критическому отношению к прочитанным текстам. Он рассказывал нам о культурной жизни Парижа и заставлял нас смеяться до слез, пародируя монологи трагических авторов (особенно Корнеля) со сцены. Это было нечто большее, чем школа, оно выходило за рамки нашего провинциального мира, стимулировало воображение.

К моей радости, он увеличил количество уроков рисования. Тут то я расправил крылья, потому что наконец для меня закончилось механическое перерисовывание. Кроме того, новый учитель умел говорить о живописи, он знал и любил ее. Как я был горд, когда 1 мая – в День труда – он организовал выставку лучших сочинений и рисунков и пригласил родителей в школу. Конечно, пришел и мой отец. И он был горд тем, что мои литературные и художественные произведения лежат в витринах и висят на стенах класса.

Наши успехи теперь оценивались по шкале от нуля до двадцати. Можно было даже иметь ноль по какому-нибудь предмету, главное было соответствовать обязательному общему среднему баллу. В начале года мы получили светло-зеленое

свидетельство – сложенную пополам карточку, где на одной стороне наш учитель рядом с каждым предметом должен был вписывать баллы (кстати, я до сих пор ума не приложу, как он подсчитал, что по истории я заслуживаю тринадцать и три четверти балла!), а с другой – свои комментарии об ученике. После первой четверти я, гордый как павлин, показываю отцу свое свидетельство со следующим замечанием: «*Doûé. Pourrait mieux faire en travaillant davantage*» («Одаренный. Может достичь большего, если будет больше трудиться»). Я обратил внимание на первую часть записи, а отец – на вторую, и, к моему удивлению, он снова разозлился на меня, но на этот раз только на словах: «Будь ты усерднее, добился бы большего!».

В какую-то среду учитель дал нам задание на пятницу: «*Commentez ce vers de Lamartine: „Objets innanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?“*». («Прокомментируйте это стихотворение Ламартина: „Неодушевленные предметы, у вас, стало быть, есть душа, которая привязывается к нашей душе и заставляет ее любить?“»). Я понятия не имел, что писать, но и опозориться я не желал, потому что очень хотел, чтобы обо мне были хорошего мнения. Как вдруг на следующий день, в четверг, как по заказу, произошла авария, взволновавшая весь город – партизаны пустили под откос целый товарный поезд, перевозивший в Германию огромное количество всякого добра: от шампанского и табака до тюков с различными

видами текстиля и прочим. Когда я, что было сил, прибежал на место происшествия, то увидел, как местные жители выносят из вагонов все, что только возможно. Какой-то мужик пил шампанское из горла, открыв бутылку ударом о рельсы. Незабываемо! Грязный машинист стоял в раздумье у перевернутого на бок паровоза. Именно его образ дал мне идею для сочинения: отчаявшийся машинист, оплакивающий свой неодушевленный предмет, к которому он привязался всей душой... За эту трудную работу я получил восемнадцать баллов – лучшую оценку в классе.

Однако счастье было недолгим. Я закончил этот класс. Война также закончилась. Любимый учитель отправился в свой любимый Париж. В Фёр не было возможности дальнейшего обучения. Как я уже сказал, я попал в аптеку.

Теперь я щеголял в сшитом моей матерью белом фартуке в расположенной на главной улице аптеке, принадлежащей месье Динэ. Я практически делал здесь все: утром я открывал аптеку, то есть открывал огромные деревянные складные двери на железных болтах, а вечером закрывал их, проводил уборку, мыл банки после различных мазей, перемывал бутылки и склянки, которые клиенты в качестве «*consignées*», то есть залога, старательно возвращали, я делал суппозитории, распределял порошок по маленьким бумажкам, которые затем складывал в конверты; раскладывал травяные сборы по бумажным кулечкам... Сперва я полностью потерялся во всем этом, поэтому мой непосредственный начальник,

провизор месье Дюссу, мужчина средних лет, но уже обремененный десятью детьми, велел мне каждый раз громко спрашивать, где что находится. Поэтому я спрашивал, а он отвечал из-за своего старомодного письменного стола, на котором лежала большая книга. Он записывал в нее то, что местные врачи прописали по рецептам. Однажды я громко спросил: «Monsieur Dussult, où sont les préservatifs?» («Месье Дюссу, где презервативы?») – потому что именно это шепотом попросил клиент); я понятия не имел, что это. К моему изумлению, мой начальник вскочил со своего места, затащил меня обратно в лабораторию и яростно завизжал в самое ухо: «Tu pourrais pas parler plus bas, imbécile?!» («Ты не можешь говорить тише, идиот?!»). Это был самый серьезный промах в моей почти двухлетней фармацевтической карьере. (Кстати, навык чтения рецептов пригодился мне позже, когда пришлось иметь дело с неразборчиво написанными источниками!).

С месье Дюссу меня связывала не только работа. В свободные минуты, случавшиеся не часто, мы умирали со смеху, когда я читал ему фрагменты «Les gaités de l'escadron» («Забавы эскадрона») Куртелины с ужасно смешными сценами из французской казарменной жизни. Кроме того, мы вели ожесточенные «идеологические споры». Под влиянием отца, заядлого атеиста (вероятно, это ускорило его отъезд из Польши), в библиотеке которого было много книг об инквизициях и папской нечестивости и который смог с

успехом заложить в меня рациональное зерно, в особенности потому, что на собственном примере доказывал, что можно быть честным и благородным без веры в Высшее Существо, я выдвигал существенные, по моему мнению, доказательства небытия Бога. Месье Дюссу – наоборот. Однако, меня несколько озадачили где-то вычитанные размышления Жан-Жака Руссо о звездном небе: «Plus j'y pense, et moins je puis y songer, que cette horloge existe et n'a point d'horloger» («Чем больше я думаю об этом, тем чаще посещает меня мысль, что раз эти часы существуют, то у них должен быть часовщик»¹⁶). Но я не дал себе завладеть этой мыслью, хотя она мне действительно нравилась.

Я был типичным наивным агностиком, но мне нравился невероятно милый молодой «abbé» – аббат, благодаря которому я провел несколько дней в Альпах с целой группой товарищей из моей школы (поездка была за счет приходского дома, иначе я бы в то время так и не увидел горы). Перед отъездом у меня были сомнения, о которых я рассказал отцу: что делать, когда все пойдут в церковь? (Потому что ходили, правда, не слишком часто). Мой отец посоветовал мне вести себя естественно, то есть не притворяться, что я молюсь, не становиться на колени, потому что это был бы худший из вариантов, в конце концов, все знают, что я неверующий, просто быть в церкви без показухи, либо подождать всех у церк-

¹⁶ Выражение чаще приписываемое Вольтеру. Уподобление Бога часовщику восходит к Цицерону. *Прим. пер.*

ви. Я так и сделал. Священник ни разу не обратил на меня никакого внимания, но я почувствовал, что он относился ко мне с особой добротой.

Здесь я должен вновь вернуться на мгновение к теме школы. В Фёр их было четыре: две государственные, светские (мужская и женская) и – по аналогии – две частные, так называемые «*écoles libres*» под руководством священников. В этих двух, конечно, в классах на стенах висели кресты, и сразу на месте преподавалась религия. Дети из нашей школы посещали занятия по религии в соседней церкви. В полдень ученики из каждого класса становились парами и в сопровождении учителя отправлялись туда на час. Я этот час проводил, как хотел. Характерно то, что городок был небольшой, и все про всех все знали. И никто никогда не попрекнул меня тем, что я не хожу на занятия по религии, и даже не пытаюсь как-то соответствовать. Меня также приняли на работу в аптеку – а желающих было немало! – несмотря на эти обстоятельства. Странно, верно? А если смотреть на эту ситуацию с нашей польской перспективы, наверное, даже очень...

Но, тем не менее, за мной приглядывали.

Однажды месье Динэ сказал мне, что виделся со священником, и тот приглашает меня в свой дом после работы. Удивленный и обескураженный я пришел туда около восьми. Сейчас мне жаль, что я не запомнил более точно ход беседы с тем священником, который, расспросив меня о том о сем,

перешел к сути вопроса. Его интересовало, почему я не верю. Я выдвигал различные – возможно, наивные – аргументы. Священник в ответ серьезно полемизировал, приводил свои аргументы, но почему-то они меня не убеждали. В какой-то момент он спросил меня (а это было сразу после победы союзников), знаю ли я, куда сразу направился генерал де Голль, когда прибыл в Москву. Почему-то я не знал, хотя об этом визите много писалось в газетах. «На священную мессу в католический собор, – гордо заявил он и добавил: «А как ты думаешь, генерал де Голль – мудрый человек?». Меня пригвоздили этим аргументом.

Интересно, чем бы закончились эти попытки спасти мою душу, если бы не наш довольно неожиданный отъезд из этого города? Моему отцу предложили работу учителя польского языка в шахтерском поселке, и он не преминул этим предложением воспользоваться. Буквально через несколько дней мы оказались в еще более крохотном городке в департаменте Мен и Луара, в Нуаян, насчитывавшим около 1500 человек. Здесь было куда больше поляков. Отец снова стал учителем польских детей, в основном из шахтерских семей.

Мы поселились в шахтерском поселке – вновь это был ряд домов под общей крышей, правда, теперь у нас уже было две комнаты с кухней, одна на первом этаже, вторая – наверху, и достаточно большие. Но что тут говорить – с Фёр нельзя было и сравнивать. Окрестности мрачноватые, Луара фигурировала лишь в названии департамента. Единственным ме-

стом развлечений было «café-restaurant», но что с того?

В Фёр – кроме Луары и Луаз – был еще кинотеатр! Каждое воскресенье я мог посмотреть фильм в «Ciné-Téâtre» месье Гарана, аскетичного и похожего на Бастера Китона. На самом деле это был большой театральный зал, но актеры были в нем редкими гостями, хотя время от времени здесь проводились школьные представления. Именно здесь однажды я сыграл роль месье Tabougin вместе с моей подругой Флэри из соседней женской школы. Я ничего не помню, кроме ужасного страха перед сценой, огромного количества пар глаз, направленных на меня после того, как раздвинули занавес, среди них мать с сестрами и друзьями, сидевшие в первом ряду, и кроме проблем с поиском подходящего для роли костюма. Спас меня мой товарищ, сосед Жюльен Горжере, одолжив свой темно-синий костюм, купленный для причастия. Это было мое первое и последнее выступление на сцене.

Этот зал в качестве кинотеатра оказался превосходным. Я не пропускал ни одного показа фильмов, если только они были не разрешены для молодежи, таких как «Жена пекаря» Марсея Паньола, с моим любимейшим Ремю в главной роли (но мама мне потом все подробно рассказала). Репертуар был очень разнообразным и совсем не плохим, как я теперь понимаю. Иногда мы ходили туда всей школой в будний день, что было особенно увлекательно, потому что часть уроков благодаря этому отменялась. Разумеется, перед началом фильма пускали киножурнал при неполном освещении, что-

бы охранники могли сразу увидеть возможного протестующего против лжи тогдашней пропаганды, что иногда случалась на воскресных показах. Однажды при первых кадрах зазвучала прекрасная, неизвестная мне мелодия, и я услышал слова песни на неизвестном мне языке: «*Полюшко, поле, / Полюшко, широко поле...*»¹⁷, французский перевод появился в нижней части экрана: «*Plaine, oh ma plaine / Plaine, oh mon immense plaine...*». Спустя годы, во время обучения в Ленинграде (сегодня вновь Петербурге) я сделал «открытие», которое странным образом шокировало меня. Ведь это была известная русская песня, исполнявшаяся многочисленными советскими хорами, в том числе и Красной Армией. Тогда она послужила музыкальным фоном для немецкого документального фильма о советских преступлениях в Катыни. Волнующие фотографии и волнующая, запоминающаяся мелодия... Я запомнил и одно, и другое сразу на всю жизнь. О том, что я увидел, я рассказал отцу, но – как и многие в то время – он не поверил: «Наверняка эти бандиты сами это сделали, а теперь обвиняют русских».

В тот день у меня было шикарное место в партере. В нашем «Ciné-Téâtre» все еще были – как и положено зрительному залу в театре – бенуары и ложи и так называемый «roulailler», буквально курятник, то есть парадиз, или галлерка. Когда в воскресенье мы ходили в кино всей семьей,

¹⁷ Здесь и во многих местах далее в книге Авторы приводят цитаты сразу по-русски, они выделяются курсивом. *Прим. пер.*

мы теснились именно там, потому что так было дешевле. Теснота была ужасная, т. к. места не нумеровались. Здесь мы все смотрели фильм с участием Кепуры в главной роли. Мать сидела рядом с Рикардо, итальянцем, местным коммунистом, как говорили о нем, обремененным невероятным количеством вечно сопливых детей, жавшихся в одной комнатке домика у железнодорожной станции, и известного своей любовью к выпивке. Все было хорошо, пока Кепура не начал петь. К сожалению, он пел по-итальянски. Ссора была на французском языке, но смысл был примерно таким:

– Сразу видно, что итальянец, – начал кичиться Рикардо.

– Какой итальянец, это поляк, – возмутилась мать.

– Какой же он поляк, когда поет по-итальянски?

– Ну и что с того, что поет по-итальянски? Он поляк, я знаю, что говорю.

– Итальянец.

– Поляк.

– Итальянец.

– Поляк.

Спор становился все громче и громче, рядом началось ворчание, стали оборачиваться в нашу сторону, а в свете прожектора нас было хорошо видно. Перепалку прекратил твердый голос отца: «Нина, успокойся».

К счастью, дальше Кепура больше не пел по-итальянски. Но ссора продолжалась по пути домой при молчаливом неодобрении со стороны отца.

В Нуаян развлечения, подобного кинотеатру месье Гарана, не было, поэтому воскресные дни были особенно унылыми. Несмотря на это, шахтеры – помимо тяжелой работы – вели довольно интенсивный образ жизни, не только в социальном, но и в эмоциональном плане. Это было связано с тоской по родной стране, куда они из-за своего финансового положения не могли вернуться и по той же причине не могли навестить родных. В целом чувство идентичности и национального достоинства в среде польских эмигрантов в то время было чрезвычайно сильным. И это находило выражение не только в такой карикатурной форме, как спор о Кепуре. Я помню постоянное материнское «Когда мы вернемся...» (например: «Когда мы вернемся, не сможешь больше обращаться ко мне на ты...»). Это «мы вернемся» действительно было главным лейтмотивом их духовной жизни, часто проявлялось в исполняемых песнях, как в этой: «Одна у нас судьба, одна у нас боль / Одна у нас тоска по этим лесам, по этим полям... / Мы вернемся туда...». Поляки глубоко верили, что они заработают денег и, в конце концов, снова окажутся на родине. В большинстве своем они не воспользовались возможностью получить французское гражданство для себя и детей (что, в конечном счете, давало определенные привилегии, хотя бы в виде семейного пособия). Спустя годы это изменится...

Между тем они с энтузиазмом участвовали в многочисленных благотворительных акциях «для родины», хотя ни

одна из этих рабочих семей не жила в достатке. Они находили возможность собрать немного денег и передать то жертвам наводнения, то для других целей. Организовывались балы в арендованном местном и уже упоминавшемся кафе-ресторане. Я сам там был в роли официанта, разносившего напитки и пончики, получая признание польской общины: «Сын учителя, не отказывается помочь». Французы туда приходили толпами: оркестр был польским, угощение – экзотические для них пончики, дрожжевые кексы, стоившие сравнительно дешево, потому что их пекли жены шахтеров. Душой этих мероприятий была организация «Помощь родине», правление которой состояло из трех человек: пана Стопы, Ноги и Колена (это не шутка, а забавное совпадение).

Одним словом, независимо от режима в стране, они чувствовали связь с Польшей. Они гордились своей родиной, ее историей и современностью. Были готовы забыть, почему им пришлось ее покинуть. Мой отец – и не только он – заботливо хранил и дополнял записанные аккуратным каллиграфическим почерком тетради со стихами и польскими песнями (они у меня сохранились); мать пела дворовые баллады, зачастую китчевые, рассчитанные на то, чтобы прошибить слезу, а также народные фривольные песенки. Иногда этот аутентичный патриотизм принимал забавные формы. Я помню ужасное возмущение местной польской диаспоры, когда крестьянина из обветшавшей белорусской деревни, который щеголял на велосипеде в кальсонах, соседи французы осме-

лились назвать поляком. Вспоминаю, как у меня возник спор с группой «французиков» в Фёр – я ретировался домой, чтобы пожаловаться, и мама дала мне совет: «А ты скажи им, что один поляк стоит больше, чем десять французов!». Я побежал вниз по лестнице и бросил им вслед эти мстивые слова. Они удивленно обернулись, а я – на всякий случай – бросился обратно наверх.

Вся эта атмосфера и мне, родившемуся во Франции, каким-то образом передавалась. У меня не было причин тосковать, ну, возможно, работая в аптеке, я чувствовал какую-то неудовлетворенность, неопределенное желание заниматься не только мытьем склянок и продажей лекарств, но и чем-то совершенно другим, более интересным... Постоянные разговоры о неизвестной мне родной стране сильно повлияли на мое воображение. Неудивительно, что я тоже хотел туда поехать.

Тем временем я отправился в менее отдаленный Париж. Мой отец, узнав, что в Париже появилась польская школа, поехал туда со мной. Эту польскую школу – курсы рисования и выпускной класс (может быть, два, уже не помню) – организовал Польский Красный Крест. Она находилась вместе с интернатом не в самом Париже, а в городке Уй, в одной остановке от теперь уже исторического Мезон-Лаффит (если ехать из Парижа по направлению к Гавру).

Обучение проходило в адском темпе. Сначала я не успевал практически ничего по всем предметам. С польским у

меня были еще нелады. Говорить я, конечно, говорил, но с правописанием... Я, вероятно, делал больше ошибок, чем сам Бонапарт, как любил говаривать один из моих учителей в Фёр.

После окончания курсов рисования меня перевели в гимназию. Здесь было легче, хотя и не совсем.

У нас были очень хорошие бытовые условия, сытная и вкусная еда, и нам никогда не отказывали в добавке. Зато старались свести к минимуму наши поездки в Париж. Моих товарищей, которые были гораздо старше меня, освобожденных из немецких лагерей или с принудительных работ у бауэров, не собиравшихся возвращаться в «новую» Польшу, тянуло туда не только из-за достопримечательностей... Мои карманные деньги не позволяли впасть в раж (зарплаты учителя моего отца еле хватало, чтобы содержать семью; шахтеры знали об этом и поддерживали нас углем, и даже давали какие-то продукты). Но мне было достаточно просто бродить по Парижу, полному достопримечательностей или даже просто зрелищ – известная вещь. Однако, помня об этом запрете, означавшем, что в Париж следовало ездить как можно реже, я, как проштрафившийся, всегда возвращался оттуда с тревогой: не заметит ли меня один из учителей?

Навел на меня страх Аллан Коско, который в то время учил нас латыни и жил, как и некоторые другие учителя, в нашей школе-интернате. В поисках инструмента для глажки своих единственных, выдавших виды брюк он заглянул в

нашу комнату (я в то время жил с замечательнейшим Павлом Бейлиным, который, хотя и был намного старше, не относился ко мне как к сопляку, общался со мной на равных, что очень льстило мне). В те давние времена я заботился о стрелках на брюках и был владельцем собственного утюга. Аллан Коско хотел выполнить эту операцию сам, но я (обрадованный в дополнение ко всему, что его визиту я обязан не своей очередной поездкой в грешный город) счел целесообразным выручить его. Он снял брюки и уселся на край моей кровати в одних льняных подштанниках до середины бедер. Я придавил утюгом намоченную тряпку, чтобы она немного подсохла, прежде чем можно будет нормально гладить. Наблюдая за моими действиями, он вдруг спросил: «А ты не едешь?». «Вот тебе на, – подумал я, – он видел, как я сегодня выходил из поезда». Но, прежде чем я успел начать переживать, он добавил: «Я-то езжу» – и скользящим движением руки показал, как он ездит утюгом по брюкам и не прижимает его к ним (наверно, он вообще никогда эту тряпочку не мочил, поэтому штанины у его брюк и напоминали две тонкие трубочки). Тогда я и подумать не мог, что мне выпала честь гладить брюки выдающегося польского поэта, с которым я много лет спустя встретился в Париже.

В первом классе гимназии, расположенной уже в самом Париже, на авеню де Ваграм, куда школа была переведена в 1946/1947 годах, таких чудачков уже не было.

Зато был Париж.

В то время Париж был грязным, черным, фасады Лувра, Нотр-Дама и прочих зданий годами не ремонтировались. Но при этом он казался красочным и невероятно очаровательным. На его улицах и площадях всегда происходило что-то впечатляющее: кто-то что-то продавал, призывал не упустить какую-то уникальную возможность покупки, пел, играл... Кроме того, ему всегда было, что предложить в области искусства в широком смысле этого слова. Опера стала для меня настоящим откровением. Внезапно на сцене я увидел то, что знал только по радио. Конечно, я сидел на галерке, поэтому на «Фаусте» я видел только половину сцены, естественно, нижнюю. После «Тоски», длившейся довольно долго, была поставлена сюрреалистическая драма «Груды Тиресия» Аполлинера. Что тогда началось в театре! Аудитория разделилась на два враждебных лагеря: сторонников и противников этого произведения (по сцене летали ночные горшки и, Бог знает, что еще, а от всей пьесы в моей голове остались лишь слова: «Et faites des enfants, vous qui n'en faites guère!»), то есть «Плодите же детей, те, кто их мало плодит!»). Возможно, дошло бы даже до рукоприкладства, но жандармы, стоявшие до этого времени у входа, начали усмирять нарушителей порядка и растаскивать наиболее вспыльчивых. У такого провинциала как я аж дух захватило от происходящего.

И совершенно ошеломила меня, меня всегда увлекавшего рисованием и живописью, большая ретроспективная

выставка импрессионистов (1946 г. (?)) в музее Оранжери. Бесконечное восхищение ею я выразил в своем сочинении, которое получило одобрение нашей учительницы польского языка (что было очень важно для меня, поскольку, как я уже упоминал, с польским у меня были нелады). Одним словом, я могу с уверенностью сказать, что не столько польское прибежище стало для меня школой, сколько, и прежде всего, этот замечательный город, о котором я столько слышал и читал (в детстве я был с родителями на знаменитой Всемирной выставке, но, конечно, ничего не запомнил из того, что потом неоднократно повторяли родители). Теперь же этот город становился для меня все ближе.

Этот близкий контакт с Парижем и увлечение им продолжалось недолго. В письмах отец сообщал, что движение по репатриации поляков набирает силу. Многие уже уехали, пора и нам об этом подумать. Вскоре мой отец предпринял соответствующие шаги. Он верил, что нам будет лучше в новой Польше. По его настоянию я то и дело ходил в какое-то министерство или контору, чтобы узнать, что с нашим отъездом. Как вдруг однажды мне сообщили, что соответствующие документы уже готовы. Можно ехать. Как раз заканчивался учебный год. Я получил свидетельство, собрал чемодан, в котором, помимо моей одежды, нескольких книг и подарков для сестер, были еще купленные по просьбе отца для «выездного» знамени амарантовое полотно, золотая бахрома и баночка с серебряной краской из галереи «Лафай-

ет». Накануне отъезда из Нуаян мы будем всю ночь шить, раскрашивать Орла и соответствующую моменту надпись.

Поездка должна была состояться в сентябре. Каникулы я провел с отцом в шахтерской кассе выплат. Не знаю, сам ли отец нашел работу или кто-то предложил ему ее, но каждый день на рассвете я вставал и полусонный с отцом тащился к автобусу, полному веселых, шутящих шахтеров, и мы все вместе ехали к находившейся в нескольких километрах от Нуаян шахте. Шахтеры спускались вниз, а мы шли в контору. Что-то мы с отцом заработали на дорогу, правда я сомневаюсь, что от нашей работы была какая-то польза: мы оба часами считали длинные столбцы чисел в бухгалтерских книгах, но суммы никогда не сходились. Мы начинали снова, и каждый раз выходило что-то иное. По ночам эти подсчеты и суммы преследовали меня. Французские бухгалтеры моментально, водя вниз-вверх пальцем в книге, производили подсчеты и не ошибались, они также очень хорошо знали, насколько жалкими были результаты наших усилий. Может быть, это была менее оскорбительная форма помощи для уезжавшего польского учителя?

Наконец наступил долгожданный день. Из какого-то дальнего уголка Франции приехал попрощаться дядя Юзек. Мои родители все еще что-то упаковывали, дядя Юзек, прекрасно зная, что его старший брат – прирожденный абстинент – не только не держит крепких напитков в доме, но что у него не найти и капли вина, предложил мне прогуляться по горо-

ду. Под городом имелся в виду кафе-ресторан, где я недавно продемонстрировал свое мастерство официанта. Мой дебют дегустатора белых вин закончился плачевно; я пришел на голодный желудок, а дядя Юзек щедро заказывал бокал за бокалом... Последствия можно себе представить.

За зданием вокзала нас ждал поезд – товарный поезд, очень длинный (на поворотах не было видно ни паровоза, ни последнего вагона). Длинный потому, что он должен был везти имущество многих польских фермеров: рабочие инструменты, всевозможные машины, крупный рогатый скот, мебель... Нас как-то подвезли к нему. Затем с помощью дяди Юзека мы внесли в вагон наш скарб, который мы без труда поместили в одном из углов. Наш багаж был поводом для многих шуток. «Ну, видишь, Леон, – говорил дядя Юзек, – ты читаешь и читаешь всю свою жизнь, учишься и учишься, и ничего с этого не имеешь. Я не учился и тоже ничего не имею». Золотые слова.

Дядя Юзек – человек простой, и в то же время прямолинейный, честный, добрый, по-своему смешной, нравившийся людям, бескорыстный. Все, что зарабатывал, сразу раздавал направо и налево. При этом он отличался смелостью. Когда в 1939 году французские власти передали лагерь Кеткидам (Бретань) польским воинским частям, формировавшимся во Франции, он немедленно присоединился к ним. Затем он попал в шталаг под фамилией Шабри, где его поместили среди французов. Там нацисты безжалостно изувечили его в

ответ на оскорбительные слова в их адрес. Он потерял один глаз тогда; а потом с удовольствием показывал мне свой искусственный глаз, который он вынимал перочинным ножом из глазницы, что вызывало у меня настоящий ужас.

А теперь дядя Юзек стоит на перроне и ждет. Почему он не едет с нами? По всей видимости, у него были свои причины. Он вернется в Польшу при Гереке¹⁸, чтобы здесь сложить свои кости. А тем временем, он стоит и ждет, когда тронется поезд.

Наконец, поезд медленно начал движение вперед. Я, прилипнув к окну вагона, едва вижу дядю Юзека. Его скрывает от меня стена слез.

¹⁸ Эдвард Герек возглавлял Польскую народную республику (ПНР) в 1970-1980 гг. в качестве первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). *Прим. пер.*

Встреча с Польшей

Мы едем в Польшу. В Народную Польшу, о которой мы ничего не знаем. Народной Польше уже два года с небольшим. Мне – всего семнадцать. За плечами остается «моя Франция». Впереди – сплошная неизвестность.

Наш состав тащился и тащился через немецкую «зону», простукиваемый американцами; время от времени проводились обыски, как-то какой-то здоровый белый детина в форме довольно грубо начал копаться в нашей провизии. В ответ на мое замечание, что здесь есть «only our food»¹⁹, он злобно взглянул на меня, но своих действий не прекратил.

Наконец поезд окончательно остановился. Граница Польши. Мендзылесе. На площадке перед поездом толчея: все пассажиры вышли из вагонов. Короткий обмен фразами и галопом к месту репатриации. Там, после отметки, куда мы едем, нам был назначен товарный вагон для перевозки наших пожитков. Однако на этот раз оказалось, что он не пустой, а в нем полно коробок. Отец, как всегда, готовый сделать одолжение любому, кто его любезно о чем-то попросит, ко всему прочему разрешил какому-то пассажиру с багажом ехать с нами. Тем более что приличного вида человеку было с нами по пути – до станции Лапы. Почему мы ехали именно туда? А-а-а, ну да, оттуда нас отделяло всего несколько ки-

¹⁹ Только наша еда (анг.). *Прим. пер.*

лометров от деревни Ковалешизны, где нас ждала бабушка, мать отца, которая после смерти дедушки и повторного брака с неким Малешкой переехала туда из Варшавы. Вскоре она снова осталась одна в маленьком хозяйстве, купленном на доллары, привезенные из Америки.

Мы снова тащимся и пялимся через открытую дверь на медленно плывущий довольно мрачный равнинный пейзаж. Перед остановкой Малкиня долго стоим под семафором. В какой-то момент большие темные тени отделяются от находящегося вдалеке леса и начинают двигаться в нашу сторону. Они становятся все больше и принимают человеческий облик. Остановившись на несколько минут, мужчины молча смотрят на нас и, наконец, задают отцу ряд вопросов: а что, как и откуда, и куда, а не евреи ли мы? Я не понимаю, что происходит. Ответы, видимо, удовлетворяют их, потому что они отворачиваются. Только тогда я замечаю висящие у них за спиной винтовки. Лесные люди²⁰. К счастью, мы не представляли для них интереса. Ни мы, ни наш пассажир. Наконец мы едем дальше. Снова медленно. Внезапно посреди темной осенней ночи поезд останавливается. Ничего не видно. «Где мы?!» – кричим. «Лапы» – доносится из темноты ответ. Через какое-то время мы оказываемся вместе с нашим попутчиком в темном, с низким потолком бараке, где свале-

²⁰ Лесные люди – неофициальное наименование вооружённых националистических формирований, боровшихся против советской власти в 1940–1950-е годы на территории Польши. *Прим. пер.*

ны все наши вещи и его коробки. Отец достает по очереди наши документы на репатриацию. Идет не только паспортный контроль, но и таможенное оформление. Все происходит как во сне. Потому что я тоже ужасно сонный, я слышу вопросы, которые задают моему отцу, но смысл которых до меня не доходит. В какой-то момент, однако, один вопрос, заданный резко, я осознаю: «А это что?». «Это... игрушки... для детей...», – запинаясь, отвечает отец, видно, что вопрос его застал врасплох. «Тоже мне игрушки – это же клавиши пианино!». Дальше я ничего не помню. Отец сказал мне присоединиться к матери с девочками рядом с нашим добром на неосвещенной платформе, а сам остался с молчаливым соседом и таможенниками. Позднее я узнал, что мы везли одного из многих мародеров, которые привозили с Возвращенных земель²¹ части пианино и много других ценных вещей. Ему также, вероятно, пришлось договориться с местными таможенниками. Наверняка, не в первый раз. Но и мы благодаря ему нашли теплый приют у его родственников, живших возле станции. С хозяйкой мать даже подружилась и всегда навещала ее, когда приезжала в Лапы из Ковалецизны. У бабушки, женщины немолодой, но очень живой и дружелюбной, мы гостили недолго. Мы жили в ее чистеньком беленьком домике. Через некоторое время отец получил одноком-

²¹ Возвращенные земли – территория восточной Германии, отошедшая в 1945 г. к Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций, а также двусторонних договоров ПНР с СССР. *Прим. пер.*

натную квартиру в деревянном доме в городке Лапы. В качестве соседей у нас был милиционер с сожительницей. Перед домом она вывешивала сушиться нижнее белье, в том числе огромные трусы, каких во Франции я не видывал. Они меня тем больше удивляли, так как на вид она не обладала такими пышными формами.

В городке Лапы я начал учиться в местной гимназии, куда отца взяли на должность учителя. Однако это продолжалось недолго. Однажды к нам пришли двое на вид невзрачных человека с пузатыми портфелями в руках. Их беседа с отцом была для меня непостижимым шифром. Однако мать, которая была, как всегда, прямолинейна и ревниво защищала интересы своего непрактичного мужа, что-то поняла и резко заявила: «Бесплатно мой муж работать не будет». Пришедшие, лишь молча, посмотрели друг на друга, не отреагировав на ее слова, и еще тише начали что-то разъяснять отцу. Казалось, что он им поддакивал в ответ. Вскоре я узнал, что этот разговор напрямую был связан с пламенной речью отца с балкона комитета партии перед толпой, собравшейся 1 мая на главной площади города. Отец, который во Франции не общался с местными коммунистами и не принадлежал ни к одной партии (был домоседом и заядлым читателем книг), теперь всем сердцем поверил в светлое будущее, которое должен был принести новый строй. С этим был связан этот разговор и наш немедленный переезд в Белосток.

Мы поселились в двухкомнатной квартире с довольно

большой угольной печкой в задней части двухэтажного дома с садом, с продуктовым магазином в передней части, прямо у железнодорожных путей. Первый этаж занимало еще две семьи. Мама часто заглядывала в магазин не только за покупками, но и чтобы поболтать. Напротив через пути у пекаря был свой магазин, и оттуда в течение следующих нескольких лет приносилась прекрасная выпечка: рогалики, круглые буханки, называемые коронами, хрустящие и хорошо пропеченные, каких я в послевоенном Париже в глаза не видел (тогда без карточек можно было купить лишь кукурузный хлеб!). Сначала, в рамках борьбы с частной инициативой, исчез пекарь, а спустя годы старый дом был снесен...

Тем временем отец пропадал целыми днями. Из Воеводского комитета партии он вырывался на минуту, чтобы перекусить дома, за столом его было не видно из-за вечно раскрытой газеты «Трибуна Люду»²², затем он снова уходил и возвращался поздно ночью. И так продолжалось до тех пор, пока он не вручил мне приглашение в городской театр на празднование объединения Польской социалистической партии и Польской рабочей партии, чтобы я пошел туда на его место. Я пошел, конечно, из любопытства, хотя был немного удивлен. Я сам принадлежал к Союзу демократиче-

²² «Трибуна Люду» – печатный орган ЦК ПОРП в 1948–1990 гг. Первый номер вышел 16 декабря 1948 г., в день объединения Польской социалистической партии и Польской рабочей партии. Возможно, отец автора читал «Глос люду», газету на базе которой и газеты «Роботник» была создана «Трибуна Люду». *Прим. пер.*

ской молодежи, потому что состав Союза борьбы молодежи был мне духовно чужд. Отец явно не одобрял мои предпочтения, но не вмешивался. Может, он хотел «воспитать» меня таким образом? В этом не было необходимости, потому что вскоре я оказался в Союзе польской молодежи²³...

Зрительный зал был переполнен, в проходах стояли толпы. Я сидел с комфортом. Долго стоял громкий гул. Но все замерли, когда поднялся занавес. На сцену вышел человек, молчавший до тех пор, пока не стихли бесконечные аплодисменты. Затем он обратился к аудитории вибрирующим от волнения зычным голосом: «Я знаю, товарищи, чему вы аплодируете! Вы аплодируете факту создания Польской объединенной рабочей партии!» Позже были еще выступления и обязательная художественная часть. Я не помню, чтобы это произвело на меня какое-то впечатление, которого, вероятно, ожидал мой отец.

Чтобы уже не возвращаться к этим вопросам, скажу, что его партийная карьера закончилась одновременно с осуждением правого уклона в партии и арестом Гомулки²⁴. Позднее

²³ Союз польской молодежи (1948–1957) был создан властями ПНР по образу существовавшего в СССР Комсомола на базе существовавшего с 1943 г. коммунистического Союза борьбы молодежи и созданного в 1945 г. Союза демократической молодежи. *Прим. пер.*

²⁴ Владислав Гомулка в 1945–1949 гг. первый вице-премьер и министр по делам возвращённых территорий. В 1948 г. обвинён в «правонационалистическом уклоне», снят со всех государственных постов, исключён из ПОРП, в тюрьме с 1951 по 1954., через два года после освобождения избран первым секретарём ЦК ПОРП. *Прим. пер.*

отец уже больше не пользовался расположением. По всей видимости, не сумел, хотя еще долгое время выслушивал наши критические замечания, выдвигаемые с юношеским запалом.

Он неустанно менял работу, но никакая из них не была достойно оплачиваемой. А ведь у него на содержании были жена и три дочери: Денис, Ирена и Марыся. Он изъездил весь Белостокский регион с лекциями, которые читал от Общества всеобщего знания²⁵. Возвращался измученный, но мы ни разу не слышали от него ни единой жалобы. Мы так и не узнали обо всем унижении, которое ему пришлось испытать от смены новых властей. Молодые волки начинали охоту. Старые идеалисты должны были уступить им место.

Дома становилось все более скудно, хотя мы с сестрами постепенно становились все более самостоятельными. К счастью, у нас была возможность помочь родителям, отблагодарить их хоть немного за все то хорошее, что мы от них получили. Когда пришло время выхода на пенсию, отец не стал пытаться получить повышенную пенсию как партийный. После событий на побережье²⁶ он перестал платить взносы. Не хотел иметь ничего общего с теми, кто стрелял в людей. Правда, он предпочитал не говорить о своем разочаровании.

²⁵ Общество всеобщего знания, просветительская организация, было основано в 1950 г. Существует по сей день, занимается организацией различных лекций, выставок и клубов по интересам. *Прим. пер.*

²⁶ Речь идет о волнениях и забастовках рабочих в декабре 1970 г. главным образом в Гдыне, Гданьске, Щецине и Эльблонге. *Прим. пер.*

Французская пенсия ему и матери теперь позволила вести достойную жизнь, какой у них прежде не было...

Первые три года после приезда из Франции прошли относительно спокойно. Две мои сестры – Денис, которую в Польше звали Данкой, и Ирена пошли в школу. Марысе только исполнилось четыре. По воспоминаниям Ирены, дети дразнили ее, потому что она плохо знала польский, да и вообще отличалась от остальных. (В этом отношении дети всегда жестоки). Данка, с другой стороны, была бойчее; как писал отец в одном из писем 1950 года, знакомый куратор с искренним удивлением сказал ему, что впервые в своей жизни видит ребенка, который так радикально мыслит – по-социалистически.

Мой лицей был на улице Огородовой. Я ходил в профильный физико-математический класс. И не без удовольствия. После парижских курсов мне было легче, чем моим сестрам, у которых за плечами была только французская школа. Товарищи ко мне относились доброжелательно, меня считали несколько экзотичным пришельцем из Франции, который мало что знал о том, что происходит в стране. В самом начале, а я пришел в класс после начала учебного года, меня удивил ксендз Залеский (если я правильно помню его фамилию), который, зачитывая список в журнале, дойдя до моего нового для него имени, поднял глаза, смерил меня сверху донизу и спросил: «Ренэ? Из Франции значит? И как там поживает этот шельмец (возможно, он использовал другой

эпитет, я не уверен) Морис Торез?». Я не помню, что ответил, скорее всего, от удивления ничего. На эти уроки религии я ходил, несмотря на мое воспитание в духе атеизма, потому что мне все было любопытно (во Франции уроки религии проводились за пределами школы). Ксендз Залеский без обиняков высказывался по поводу современности, в меньшей степени говорил о Евангелии. Мне казалось все слишком примитивным и не убеждало меня. Однажды он не пришел на занятия. Один из его коллег уже знал, что его арестовали. За разговоры? Это было немного странно, но мы как-то долго об этом не размышляли.

Мне особенно нравились уроки физики профессора Нечипоровича²⁷, очень привлекательного, всегда элегантно одетого; он вел себя так, словно был приглашенным гостем в школу. Время от времени, в конце урока, он вынимал из кармана пиджака маленький блокнот и листал его с минут, длившуюся вечность. Тогда глаза всего класса смотрели на меня – я вставал и задавал вопрос, связанный с последней темой урока. На уроке по оптике, после выведения формулы для линзы, я интересовался тем, как возникает явление радуги. Наш милый профессор вставал и с готовностью объяснял это на доске до самого звонка. И так нам несколько раз удалось избежать опроса.

Нашей любимицей была профессор Ядвига Осецкая, преподаватель польского языка. Маленькая, с выразительными,

²⁷ В Польше принято школьных учителей называть профессорами. *Прим. пер.*

большими глазами, иногда принимавшими обманчивое мечтательное выражение (потому что на самом деле она ничего и никого не упускала из вида и не отличалась мягкостью в оценках). Любили же мы ее и уважали, потому что благодаря ее умению вести уроки они превращались для нас в настоящие дискуссии, особенно, когда мы обсуждали «Куклу»²⁸. Ей не нужно было никого спрашивать по журналу, мы сами срывались с места, чтобы взять слово. Однажды, когда речь шла о характеристике Жецкого, я сказал, что он был так ярко изображен, что стоит у меня перед глазами как живой. «Тогда нарисуй его!» – воскликнула профессор Осецкая. Я побежал к доске – именно подбежал, а не подошел, чтобы ничего не потерять из своего образа этого бонапартиста – и несколькими штрихами нарисовал его голову в профиль, что вызвало полный восторг у нашей учительницы, а меня привело в состояние, о котором я не могу забыть по сей день. Она сказала одному из нас пойти в секретариат и попросить большой лист кальки, чтобы перевести рисунок, который затем забрала с собой домой.

Несколько раз я был у нее в комнате, чуть ли не на улице Мицкевича. До поздней ночи мы обсуждали с ней уже гораздо более общие темы. Было о чем подумать... После возвращения мне приходилось довольно долго стоять под дверью в нашем коридоре, ждать пока отец не проснется и не откроет

²⁸ «Кукла» – роман польского прозаика Б. Пруса 1890 г., перевод на рус. яз. Н. Модзелевской (1947 г.). *Прим. пер.*

мне, он тактично никогда ни о чем меня не спрашивал.

Я не помню, сопровождала ли она нас в школьной поездке во Вроцлав. Мы поехали туда, чтобы посмотреть выставку, посвященную Возвращенным землям, о которых тогда (и еще долго потом) трубили, что мы всегда там были и теперь там будем.

После возвращения она нам дала задание написать о своих впечатлениях от этой выставки, по которой у нас была невероятно длинная экскурсия. Я честно написал, что меня в ней заинтересовали не вопросы, связанные с историей, а ее оформление, то, как она была представлена зрителям. В частности, я был очарован мастерством наших художников-оформителей, которые с помощью обычного плотного листа картона создали изящные и в то же время простые – и недорогие – иллюстрации и тексты на разные темы (умение работать со шрифтами было сильной стороной художников, оформивших выставку).

Потом я слушал вместе со всем классом свое сочинение, которое прочел один из учеников, известный своим умением хорошо читать. Нельзя сказать, что мне это не доставило удовольствия. В то же время это дало мне понять многое о взглядах профессора Осецкой, которых она не скрывала, об ее отношении к новой реальности и способе видения мира, в чем я мог убедиться во время наших «земляков бесед в полуночной тиши»²⁹.

²⁹ Последняя строка из стихотворения А. Мицкевича «К польке-матери»

Уже после окончания лицея мы навестили ее с моим другом Здзиславом Домбровским в Ломже. Вновь мы говорили и говорили, а затем на рассвете она разбудила нас, чтобы вместе пойти за грибами. Во время одних из летних каникул я поехал к ней с женой, хотел показать ей эту удивительную женщину, которая формировала наши характеры и себя саму. Подумать только, будучи уже в очень зрелом возрасте, эта женщина защитила кандидатскую по математике! Здзислав навещал ее еще годами, а я после возвращения из института не возобновил знакомство. Мучает меня это сильнее, чем многие другие упущения...

Когда в школу пришла информация о возможности учебы в СССР, вызвался только один ученик, остальные крутили пальцем у виска; они пережили опыт советской оккупации, депортации, а те, кто остался, – массовой пропаганды и ежедневной нехватки снабжения продовольствием. Наверное, все это испытала и профессор Осецкая. Я не верил рассказам товарищей, а из Франции я приехал с литературным багажом, под впечатлением от романа «Михаил Стругов» Жюль Верна, произведений Софьи Ростопчиной³⁰ и, конечно, обоих Толстых – Льва и Алексея (я читал его «Князя Серебряного»), а также захватывающих повестей о русской душе. Такое приключение вызывало соблазн.

1830 г. стала нарицательной в польском дискурсе. *Прим. пер.*

³⁰ Софья Федоровна Ростопчина (фр. Sophie Rostopchine, 1799–1874) – французская детская писательница русского происхождения. *Прим. пер.*

Мама сразу стала готовить все, что было нужно: от пижамы до костюмов и пальто, хотя отец ворчал: «Зачем это возить, он там все себе купит без труда, там все есть!» «Может и есть, но лучше, если возьмет с собой», – заботливо говорила она в ответ.

В Польше меня часто спрашивали, удивляясь, что я покинул милую Францию, не скучаю ли я по ней, не хватает ли мне ее. Нет, я не скучал по ней, не чувствовал, что мне ее не хватает. Учеба, друзья и семья полностью захватили меня. Только спустя годы она вернулась ко мне во снах. Каждую ночь я бродил по любимому Фёр, по берегам его Луары и Луазы. И вот, наконец, пришли годы оттепели. Скромная стипендия от *École Pratique des Hautes Études*³¹ позволила нам с женой ненадолго вернуться в город моего детства и юности с его когда-то такой полноводной, а теперь такой маленькой речкой, которую когда-то перекрывал громадный мост, а теперь с небольшим мостиком, под которым я так рьяно рыбачил.

Только мои любимые платаны остались все такими же большими и пятнистыми – можно было к ним прикоснуться и погладить, как в былые времена.

³¹ Практическая школа высших исследований (фр.). *Прим. пер.*

Моя Польша

1 сентября 1939 года. Мне восемь лет, два месяца и четыре дня. Мы живем в Варшаве на улице Электоральной 5/7, во флигеле на пятом этаже без лифта. Это первый день Второй мировой войны. Никто не знает, что она нам принесет.

Моя жизнь до того была связана с центром города в границах Банковской площади, Саксонского сада, побережья Вислы, к которому мы съезжали вниз по извилистому спуску от улицы Каровой до Йордановского сада³². Затем эта территория постепенно расширилась: на трамвае мы отправились в район Жолибож, в 13-ю колонию³³, где жил профессор Антоний Болеслав Добровольский со своей весьма почтенной женой Зофьей и ассистенткой Зофьей Корчак. Моя Мама, Сара Ласка, также ассистентка А.Б.Д. в Независимом польском университете³⁴, дружила с часто заглядывавшей к нам Зо-

³² Йордановские сады появились в начале XX в. по инициативе врача и педагога Хенрика Ёрдана (известного в рус. транслитерации как Генрих Йордан), они предназначены для игровых, воспитательных и образовательных детских, подростковых и школьных программ на открытом воздухе. *Прим. пер.*

³³ Колониями называли группу зданий, созданную по единому проекту. Такие колонии появились в Варшаве в районе Жолибож между улицами Красинского, Словацкого и площадью Вильсона. Это были здания Варшавского жилищного кооператива, основанного в 1922 г. по инициативе ППС с мыслью о трудящихся. *Прим. пер. и В. С.*

³⁴ Независимый польский университет – частное учебное заведение Варшавы (1919–1952). *Прим. пер.*

фьей, которую все звали Зойкой. Она преподавала в начальной школе по соседству. Блондинка, в шубке – зимой и в костюмчиках – весной, голова вся в завитушках, – она казалась мне абсолютной красоткой. Она увлекалась фотографией, и я в долгу перед ней за большую часть моих детских снимков. В Саксонский сад, огороженный красивой решеткой (к сожалению, ликвидированной после войны под видом «демократизации» парков, куда теперь народ должен был иметь открытый доступ), ходили, беря с собой колесико или скакалку. Иногда мы заглядывали в павильон с бесплатным молоком «Кропля Млека» или к питьевому фонтанчику «Пияльня Вуд». Настоящим праздником были воскресные походы с Отцом в кафе-кондитерскую Бомовича на Банковской площади, а затем в кафе «Люрс» за пирожными или мороженым. Продвижение к цели несколько замедляли на каждом шагу встречаемые знакомые, но, в конце концов, мы были на месте – я занимала высокий стул и заказывала лакомство.

Мамина семья была родом из Лодзи, так что это был второй польский город, который я знала с детства. Там жили две тетки, Эля и Маня, и дядя Игнась, а еще две кузины – Аня и Иренка. Огромным развлечением был парфюмерный магазин, которым управляли дядя Рысь и тетя Маня, где было пахучее мыло с изображением пятерых близняшек, парфюмерные масла и порошки. В дверях стояла, словно живая, картонная Ширлейка³⁵ – мечта всех девочек, говоривших со

³⁵ Куклу называли по имени юной актрисы Ширли Темпл. *Прим. пер.*

вздохом: «Ах, как хочется иметь куклу, похожую на эту популярную киноактрису!». Она была как сегодняшняя Барби, только намного красивее... Окна этой квартиры, принадлежавшей бабушке Розалии, выходили, не как у нас – во двор, а на улицу, и вечером я засыпала под равномерных стук копыт лошадей, запряженных в повозки.

Летние каникулы мы всей семьей проводили в Свидере, в Плудах под Белоленкой. В Свидер приезжали даже из Бельгии мои кузины Эва и Элиана со своим отцом Хенриком, одним из трех братьев Отца. Одной из любимых забав была игра в школу. Элиана, которую называли Хелианкой, все время хотела быть учительницей; ученицы протестовали. Когда старшие попытались убедить ее, самую младшую из нас, что она тоже должна стать ученицей, Хелианка с обескураживающей честностью заявила: «Но я могу только задавать вопросы, я должна быть учительницей, ведь я ничего не знаю!»

В Плудах нас полностью обокрали; никто не слышал, как рыскали по квартире. Утром выяснилось, что ни у кого из взрослых нет ничего, что можно на себя надеть, чтобы поехать в Варшаву за одеждой; нужно было что-то одолжить у хозяев. Это одно из самых ранних бурных воспоминаний из в общем-то безоблачного детства. Однажды мы втроем ездили на море в городок Ястшембя Гура и жили у кашубов, также увековеченных на фотографиях.

За школьными принадлежностями мы ходили в торговый дом братьев Яблковских на Брацкую. Поход туда был связан

с большими эмоциями – внизу стояла очаровательная железная дорога, выглядевшая как настоящая, а на последнем этаже – швейные машинки Зингера; рядом с каждой из них шила что-то кукла с лицом Ширлейки! Что мы там покупали, не помню, но вот железная дорога и куклы стоят перед глазами, как будто все это я видела сегодня.

В школу в район Жолибож я сама (!) ездила на трамвае (я гордилась тем, что совершала эту поездку самостоятельно, только вначале меня несколько раз сопровождали взрослые). Это была светская школа, управляемая Рабочим обществом друзей детей (РТПД) Польской социалистической партии (ППС), в которой работали отличные учителя. Мне удалось там закончить первый и второй класс. Я помню, что за школой были видны бараки для безработных.

Я училась с удовольствием. Дополнительно я ходила на ритмику, возможно, именно в то время ее ввели в учебную программу. Букварь был, естественно, Фальского и начинался со слов «Ala ma Aśa...»³⁶. Я уже умела читать (как иначе, раз моя кровать со всех сторон была окружена книгами, как, и гостиная, в которой все стены были в книжных полках от пола до потолка, а уже за ними стояла тахта Родителей. Третью комнату всегда сдавали друзьям. Отец был владельцем букинистического магазина на дому с доставкой книг по почте, а Мама, как я уже упоминала, работала в Независи-

³⁶ «Аля ма Аса» в переводе «У Али есть Ас». Букварь Марианна Фальского впервые вышел в 1911 г. и по сей день переиздается в Польше. *Прим. пер.*

мом польском университете. Жили скромно. Хотя была служанка, но в межвоенный период это не считалось роскошью при существовавшей безработице и нищете в деревне).

Из семьи Отца я помню бабушку и дедушку, живших на Гжибовской улице, к ним надо было идти по винтовой лестнице на второй этаж, и младшего брата – Дудека, который работал на Сенаторской, сразу рядом с нами, в автосалоне Влодарского. Единственная сестра Отца, Теофилия, которую звали Тэтка, также жила рядом с нами, полуэтажом выше, со своим сыночком Ежи.

Первые годы оккупации прошли у нас в гетто. Мы долгое время были в счастливом положении – наша квартира на улице Электоральной оказалась в так называемом малом гетто, поэтому нам не пришлось никуда переезжать. Наоборот, к нам и в пустующую соседнюю квартиру приехали родственники из Лодзи. На Электоральной мы провели первые два школьных года (1939/1940 и 1940/1941). Школьных, потому что в нашей квартире Мама создала настоящую школу, в которой учителями были все члены семьи. В конце года организовывались представления и вручались свидетельства. Родители учеников также участвовали в этих праздниках. Выжили четыре подопечных Мама. Каждая из них вспоминает об этой не обычной возможности в условиях гетто продолжить учебу в квартире, полной книг. Ни об одном из наших школьных товарищей у нас нет известий... Их пыта-

лась найти Бронка Алланд³⁷ – безуспешно. Как известно, на «арийской стороне» было проще спрятаться девочкам...

Конечно, это были непростые годы, но, как я уже писала³⁸, родители и Тэтка смогли создать атмосферу нормальной жизни для нас, детей, что было настоящим подвигом. У нас было полно уроков, и это определяло наше настроение: учеба, игра во дворе, лепка из глины, рисование, чтение... Частью этой нормальной жизни были также совместные приемы пищи, всегда – даже самые скромные – на чистой скатерти, на сервизе из фарфора. Тэтка была мастером в приготовлении еды из ничего. Поскольку школа приносила некоторый доход, а еще помогал брат Мамы, Игнась, и что-то присылали друзья, прежде всего Зойка, я не помню настоящего голода, скорее, недоедание и радость от каждой дополнительной порции во время торжественно отмечаемого дня рождения – моего в июне, Ежи – в феврале.

Занятия в третьем учебном году 1941/1942 уже проводились на улице Хлодной, куда нам пришлось переехать из-за

³⁷ Бронка, теперь Бернадетт, опубликовала на английском языке свои воспоминания – см. *Alland B. Memoirs of a hidden child during the Holocaust. My life during the war. Translated from the Polish by G. Alland. New York, 1992.* О своих поисках наших товарищей она рассказывала мне во время наших многочасовых бесед в ее доме во Флориде, куда она нас с Ренэ пригласила, когда нашла меня в Варшаве за несколько лет до этого. Я читала ее написанные по-польски сразу после войны воспоминания, которые легли в основу английской версии.

³⁸ См. *Dzieci holokaustu mówią... Do druku przygotowała W. Śliwska. Warszawa, 1993; Pan Puchatek Rzecz o Waclawie Zawadzkiem. Do druku przygotowała W. Śliwska. Warszawa, 2006. S. 25–32.*

сокращения территории гетто. Там было уже страшнее – я помню, что люди проходили мимо нас по мосту, а на контрольно-пропускном пункте безумствовал жандарм-садист, прозванный Франкенштейном, который стрелял во все, что движется, поэтому нам не разрешали подходить ни к балкону, ни к окнам (в памяти осталось воспоминание о маленьком отверстии в стекле с лучистым зигзагом).

Наступило лето 1942 года. О школе или каких-либо других занятиях уже не было и речи. Немцы начали ликвидировать гетто. Начались переезды, по улицам летали бумага и перья, валялись брошенные чемоданы. Шли разговоры о том, что делать – может выехать на работы? Однако, в конце концов, мы продолжали переезжать с места на место, везя за собой тележку с книгами, которых становилось все меньше и меньше, как и вещей. Закрываю глаза и вижу ужасно ободранные грязные комнаты, а потом красиво обставленные, с множеством игрушек, о которых я никогда и не мечтала. Мне разрешали брать все, что я хочу, что мне нравится – таким образом, уменьшался мой страх. Наконец, 30 августа, мы оказались на улице Лешно, снова в брошенной квартире. На следующий день в полдень началась блокада. Мы не спустились вниз на улицу, как было приказано, меня засунули под металлическую кровать, а взрослые, включая Маму и Отца, вышли в коридор. Раздался громкий стук в дверь и крики: «*Да, да!*»; операцию проводили украинские части. Дверь открыли, крик продолжался. Потом был выстрел, я

услышала звуки ударов, падения и стук шагов по лестнице. Наконец наступила тишина. Тогда от этого выстрела в голову погибла моя Мама, Сарэнка. Кажется, тогда она уже была совершенно седой. Когда все стихло, я вылезла из-под кровати, вся мокрая... Я видела, что в коридоре кто-то неподвижно лежит. Я не знаю, откуда я знала, что произошло, потому что какие-то незнакомые люди взяли меня на руки и забрали к себе. Возможно, они обсуждали что-то между собой, а я из этого сделала правильные выводы. Снова я помню только бессонную ночь и кучу клопов, массово выходящих кормиться. Утром появилась Тэтка. Мы ничего не обговорили, как будто все было ясно. Ее сын Ежи уже был на «арийской стороне». Теперь настала моя очередь. Меня забрала подруга Мама, Зойка, которой я всегда так восхищалась.

Сперва в подъезде она нарумянила мне щеки, чтобы в конце жаркого лета я своей бледностью не обращала на себя внимания. Затем мы поехали на трамвае в район Беяны, и здесь, в квартире, которую она снимала у Альдоны Липшиц, в двухэтажном домике по улице Шафлярской 5, я провела какое-то время, пока мне не сделали свидетельство о рождении на имя Виктории Заленской, не научили рассказывать «легенду» о том, как я потеряла давным-давно мать, а отца вывезли в офлаг, пока я не выучила молитвы и другие важные для католического ребенка вещи. И самое главное – пока для меня не нашли постоянных опекунов.

В течение нескольких месяцев из гетто я постоянно полу-

чала письма и вещи от Отца, Тэтки, кузины Ани. В одном из писем Отец убеждал одиннадцатилетнюю дочь, что «нам повезло с людьми», что я могу им доверять и рассчитывать на их доброту. Он был прав – с тех пор я на каждом шагу встречала бесконечно добрых людей совершенно разных взглядов. Их всех объединяло то, что они были радушными и смелыми, и если они и боялись, то умели не проявлять страх.

Сначала мне нашли убежище у членов Польской рабочей партии Зигмунта и Марии Бобовских в районе Жолибож, в 13-й колонии Варшавского жилищного кооператива, а когда Зига погиб в акции, и квартиру пришлось спешно ликвидировать, после нескольких дней ожидания я оказалась у неизвестных людей на улице Канёвской, откуда я вообще не выходила, потом меня привели на улицу Маршалковскую 41 (на углу площади Збавичеля/Спасителя), в однокомнатную квартиру во флигеле на втором этаже, где жила учительница Ядвига Съверчиньская с приемным сыном Тадеком (этот дом сохранился до сих пор). Малыш обычно сидел в углу, сосал палец и качался. Позже я узнала, что это сиротская болезнь. «Тетя Ядзя» зарабатывала на жизнь уроками, а за меня она получила какие-то гроши, которые приносила другая Ядзя – Поллакова-Добровольская, стоматолог (она всегда улыбалась; глядя на нее, было впечатление, что с ней ничего плохого не может случиться, когда она так развозит по

Варшаве помощь из «Жеготы»³⁹ для прятавшихся детей и взрослых).

Ядвига Сьверчиньская и ее подруга Марихна Меер, сестра Зойки, были глубоко верующими христианками в полном смысле этого слова. Они восхищались мистиком Полем Седиром и исходили из главного, по их мнению, принципа, заключавшегося в том, что быть христианином означает творить добро. И так они и поступали. Чаще всего они выбирали самый сложный путь, что иногда удивляло или даже раздражало, но в конечном итоге вызывало восхищение.

Потом на арийскую сторону перешли Тэтка и Отец, а также другие друзья родителей. Занимались этим уже Зофья Корчак-Блатонова и Анеля Чешковская. Обе принимали участие в деятельности Армии Крайовой (АК). Отец под именем пана Никто прятался в районе Жолибож у Зоси, моей будущей прекрасной мачехи. К сожалению, я навещала их редко, но всегда с большой радостью.

Следует упомянуть, что я ездила в школу на улицу Потоцкую, а потом на комплеты⁴⁰. И везде мне везло с хорошими, добрыми учителями. На площади Збавичеля я нашла подругу, Йоасю. Вместе с ней я продавала цветы, которые ее мама хранила в подвале нашего дома. Мы встретились после вой-

³⁹ «Жегота» – кодовое название польской подпольной гуманитарной организации Совета помощи евреям, органа Польского правительства в изгнании (1942-1945). *Прим. пер.*

⁴⁰ Комплеты – тайное обучение в Польше в форме занятий и лекций, организованных вне учебного заведения во время Второй мировой войны. *Прим. пер.*

ны. Йоася училась и собиралась поступать – она, безусловно, принадлежала к тем, кому политические перемены облегчили жизнь. Мне нравились и школа, и комплеты, но и прогуливать я тоже любила. Лучше всего было заглянуть к Липшицам, где был сад и масса сокровищ: мелки, краски, бумага для рисования. Был также какой-то молодой человек, студент, по его словам, медицины, и еще дочери пани Альдоны, из которых я лучше всего запомнила Висну, возможно, из-за странно звучащего для меня имени. В Варшаве живет Ядвига Липшиц, дочь Альдоны, награжденная вместе с матерью медалью «Праведник народов мира».

Летом вместе с Тадеком мы ходили в Уяздовский парк, а затем в городской лагерь, я не знаю, кто его организовал, где нашим воспитателем был не кто иной, как Здислав Либеря – позже мой учитель в гимназии и лицее, а затем профессор Варшавского университета. Нас там даже чем-то кормили.

Все внезапно изменилось – мы как раз вернулись из парка, когда наступил час «В»⁴¹ и появились молодые люди с бело-красными повязками. Началось строительство баррикад, были вывешены давно невиданные флаги в национальных цветах. Наш дом, как оказалось, находился у самой линии фронта – сразу за площадью Збавичеля были уже немцы. Долго на ней лежали трупы погибших с обеих сторон. И вновь жизнь переместилась в подвал. Тетя Ядзя – также как

⁴¹ Час «В» – кодовое название дня и времени начала в Варшаве операции «Бу-жа» (Варшавского восстания), 1 августа 1944 г. в 17:00. *Прим. пер.*

родители и Тэтка – не подавала вида, что боится, она не паниковала ни во время взрывов, ни когда во фронтальных окнах за мешками с песком разместились повстанцы, и дом находился под постоянным обстрелом. У меня было две живших с фронтальной стороны дома подружки: дочь известного ларинголога пана Мрочека и дочь инженера ван ден Берга. Когда было спокойно, мы вместе играли в мяч, отбивая его от стены, забавлялись в веревочку, писали стихи, в основном о соседях, что вызывало сплетни и жалобы со стороны героев наших произведений.

Мне сегодня трудно понять, как прошли эти шестьдесят девять дней восстания; ведь время должно было ужасно тянуться. Я помню только несколько событий: первых убитых и раненых, для которых – как во времена восстаний, известных из школьных учебников – мы щипали корпию; их похороны во дворе, когда рыть могилы пригнали женщин-фольксдойче с бритыми головами (это вызвало некоторое внутреннее омерзение – мы с тётёй Ядзей и Тадеком с отвращением от них отворачивались). Потом был радостный визит Отца с Зосей и Тэткой, обе они были членами женской организации «Помощь солдатам»⁴² в группе Хробры II из подразделения Леха Гжибовского. Ими командова-

⁴² «Помощь солдатам» была организацией, занимавшейся всем, что было необходимо повстанцам: питанием, стиркой, уходом за ранеными; Зося, псевдоним Альдона, была сертифицированной медсестрой, у нее за плечами был фронтальный опыт работы в санитарном поезде в сентябре 1939 года, потом она вела тайные курсы для санитарок АК.

ла Анеля Чешковская, которая вывела Тэтку из гетто и помогла ей устроиться на «арийской стороне». Разбирая письма, я недавно нашла конверт с надписью, сделанной рукой Зоси: «Для Анели Чешковской. Внутри прощальное письмо от Леха Гжибовского». Оно заслуживает того, чтобы его привести полностью, оно как темляк для его книги «Вихрь свободы», которую он издал под именем Вацлав Загурский⁴³, и для характеристики повстанческих дилемм и настроений в день поражения:

«Лично поручику Регине 15.X.1944 г.

Солдаты – женщины 2-го батальона! Не принимайте близко к сердцу это патетическое и официальное обращение. Я не могу найти иного обращения, которое бы дало мне возможность обратиться к вам всем в равной степени и указывало бы, что эти слова предназначены для всех вас. И все же, когда уже известно решение, которое отдалит нас на какое-то время, я хочу выразить всем вам без исключения истинное глубокое чувство восхищения, благодарности и дружбы. Может быть, это выглядит странно, что выходит из-под пера вашего капитана Леха, которого вы так долго видели на действительной службе. Чувства? Как можно искать проявление чувств в сердце человека, который, подобно машине, уничтожающей жизнь, отдавал приказы не только стрелять по врагу,

⁴³ Zagórski W. Wicher wolności: dziennik powstańca. Przedm. G. Herling-Grudziński. London, 1957. Прим. пер.

но и по гражданским полякам на баррикадах? Который никогда не задумывался, когда неоднократно отправлял мальчиков-подростков под огонь на верную смерть? Который ради экономии боеприпасов выдавал только по три патрона, чтобы застрелить человека? Который смеялся сразу после того, как отходил от гроба своего товарища по оружию и не терял аппетита при виде разбросанных по улице внутренностей своего солдата? Который выбрасывал за дверь женщин с младенцами на руках, молящих о помощи? Видите, какие бывают сюрпризы: для меня таким сюрпризом является Ваша привязанность ко мне, которую вы сейчас выражаете, когда я всего лишь военнопленный № 101965; для вас также, наверно, является сюрпризом то, что я тоже могу чувствовать как человек. Примите слова глубокой дружбы не от капитана, а от человека. Примите эту дружбу, поделитесь ею справедливо; и раздайте ее всем солдатам, с которыми вы на равных принимали участие в работе работ, в варшавском августовском и сентябрьском кровавом труде; подарите эту дружбу, умноженную на все ваши благородные сердца, всем подругам по лагерному несчастью в других бараках, в других частях. Стройте лучшее будущее, основываясь на дружбе, набирайтесь сил для продолжения пути.

Пока продолжались боевые действия, не было ни времени, ни места для этих слов. Не было ни времени, ни места для сведения счетов. Я обязан вам как ваш командир. Может быть, судьба позволит мне оплатить все мои долги. Может, судьба позволит мне

прикрепить заслуженные кресты на вашу грудь. Я буду счастлив тогда. Не удивляйтесь, что вы получили так мало крестов – вы, живые, когда столько павших не получили и деревянного креста. Мое искреннее восхищение Вашей солдатской позицией примите как вексель, который будет оплачен в лучшие времена Свободы. И пусть никто из вас не содрогнется от такой постановки вопроса. Я знаю, что вы ничего не делали с мыслью о вознаграждении. Но счета должны быть когда-нибудь оплачены. За все. Тогда лишь закончится наша солдатская служба, когда все за все заплатят.

И примите мои слова благодарности вам. За все. За то, что вы такие, а не другие. За ваши недостатки и за ваши преимущества. За ваши сердца. За ваши усилия. За стойкость, которую вы проявили и продолжаете демонстрировать, которая мне так помогла и помогает. За вашу верность знамени и за вашу готовность нести службу и дальше.

Я не привожу ваших имен. Все ваши имена навеки записаны в славном реестре обломков и руин мученической, героической, победоносной завтра Варшавы.

/ – / Лех Гжибовский к-н»⁴⁴

Нет необходимости комментировать это письмо, написанное разборчивым почерком на листе бумаги в клетку, сини-

⁴⁴ Оригинал передан мной в Музей Варшавского восстания. Текст письма приводится по изданной на материалах семейного архива книге: *Śliwowska W. Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie. Dzienniki. Świadectwa*. Gdańsk, 2014.

ми чернилами. Оно говорит больше о трагедии борьбы и поражения, чем все торжественные мероприятия, проводимые в то время, когда эти события вошли в историю, и когда вместо того, чтобы посвятить время раздумьям, организуются игрища в виде баррикадных боев, а туристам предоставляется возможность прогуливаться по чистеньким проходам, построенным для этой цели из нового кирпича. О такой ли плате по счетам мечтал расстроенный и растроганный капитан Лех?

Восстание было для всех опытом поначалу невообразимым, а потом трудным для выражения. Историки собирают материалы, публикуют книги, спорят. Литература предмета, по-видимому, еще не созрела для столь болезненной темы. Нужен большой талант и глубокое понимание той ситуации, в которой счастливый конец был невозможен. Пока что – за исключением, может быть, Мирона Бялошевского – никому это не удалось.

Угловой дом на Маршалковской 41 жил своими мелкими проблемами: угрожает ли пост, выставленный в квартирах, выходящих на фронтальную часть дома, их жильцам? Нужно ли куда-то переселяться? Где брать воду?

Когда уже был перекопан весь город, через эти дыры в стенах и уличные коридоры к нам пришли «наши» из группы Хробры II. Конечно, эти посещения были нечастыми. Альдона, Регина и Зюта – это псевдонимы Зоси, Анели и Тэт-ки – были до смерти уставшие, о чем они даже писали в за-

бавных письмах Отцу, который какое-то время находился в больнице. Каждый раз они приносили нам что-нибудь поесть. Я помню рапсовое масло, в которое мы окунали корочки хлеба – очень нам нравилось. С едой было все хуже и хуже. Наиболее храбрые выбирались по ночам на Мокотовские поля, на огороды, где созревали помидоры, огурцы и другие овощи, но они часто не возвращались из этих походов... Мы каждый день читали повстанческие газетки, ждали помощи Красной Армии, прислушивались к жужжанию кукурузников, с отчаянием смотрели, как в сторону немцев улетает сбрасываемая на парашютах помощь от союзников. Рев «Грубой Каськи»⁴⁵ вызывал страх, а среди людей, также и в нашем доме, росло чувство неприязни к повстанцам, которые, не имея ни оружия, ни гарантированного союза, подвергали жителей города таким ужасным страданиям. Еды было все меньше и меньше, нас спасали сушеные хлебные корки. С облегчением и одновременно с отчаянием была воспринята капитуляция. В ушах звенели слова: «Мы ждем тебя, красная зараза, чтобы ты спасла нас от черной смерти», и фрагмент второго стихотворения, связанный с радиопередачами правительства в эмиграции: «Почему похоронный хорал вы все в Лондоне поете...»⁴⁶ В людях росла злость на тех, кто,

⁴⁵ «Груба Каська» в переводе «толстая Каська» – общественный скважинный колодец, построенный в 1783–1787 гг., сегодня находится на аллее Солидарности, прозван «толстой Каськой» из-за установленной над ним ротонды. *Прим. пер.*

⁴⁶ Первая строка приводится из стихотворения «Красная зараза» поэта Юзефа

спокойно сидя где-то за границей, вершит судьбы оставшихся в стране. Атмосфера не имела ничего общего с энтузиазмом первых дней августа 1944 года. В конце октября «наши» пришли попрощаться – Тэтка отправлялась в лагерь для военнопленных, отец – с гражданскими, а Зосе пришлось еще остаться с ранеными. Потом они встретились в Прушкуве, откуда им удалось бежать в Кельце. Эта варшавская встреча была очень печальной – всех мучило чувство неопределенности: что будет дальше? Тете Ядзе принесли какие-то остатки ценностей и часть денежного довольствия, полученного в валюте.

В последний день в нашем доме произошла незабываемая сцена. На углу улицы Маршалковской и площади Збавичеля во время войны находился популярный ресторан. Я помню, как немцы входили в него, а выходили улыбаясь, часто в компании женщин, что-то лопоча между собой; изредка я замечала в то время там польских посетителей. Во время восстания хозяева оставались на месте и вроде особо не помогали – возможно, участвовали в вечерних молитвах, проходивших у могил повстанцев и у голубой фигуры Божией Матери, но я не знала их в лицо, поэтому точно сказать не могу. Выступление из города жителей нашего района было запланировано на 8 октября. И вот перед самым отходом из

Щепаньского, написанного им 29 августа 1944 г. за несколько дней до смерти. Вторая строка – из стихотворения «Требуем боеприпасов» с датой 24 августа 1944 г. принадлежит перу Збигнева Ясиньского. *Прим. пер.*

Варшавы ресторатор начал раздавать еду: муку, крупы, сахар. Возмущенные люди хотели получить только сахар и алкоголь. Они заявляли, что алкоголь нужен раненым повстанцам, а голодающим детям – еда. Припозднился он со своей благотворительностью. Толстяку, я не знаю, почему я его запомнила таким, было все равно; явно он больше всего жалел то, что оставалось в подвалах и квартире, а не хотел помочь жителям.

Забегая немного вперед, я признаюсь, что случай с тем владельцем ресторана (существующего по сей день, в ПНР, обобществленного и, вероятно, теперь возвращенного наследникам; сейчас там находится кафе-мороженое «Корсо», где можно получить среднего качества обед за десять злотых) уже после войны, когда я была членом Молодежной организации Общества рабочих университетов (ОМТУР), то есть в молодежной организации ППС, убедил меня в правоте марксистских классиков, чьи труды я изучала с большим энтузиазмом. В работе Карла Маркса – кстати, блестяще написанной – «18 брюмера Луи Бонапарта», в предисловии Энгельса и в других томах, массово издаваемых тогда в желтых обложках, я находила подтверждение многим беспокоящим меня мыслям. Именно из-за этого скупого ресторатора я поддерживала идею отказать в незыблемости права собственности и оправдать любые конфискации в переломные моменты. Если бы это было применено в августе и сентябре 1944 года, как я считала, то наверняка нашлось бы достаточ-

но еды для голодающего города. Еще одной книгой, поразившей мое воображение, была брошюра Георгия Плеханова «К вопросу о роли личности в истории». Но об этом позже.

Тем временем наступило то роковое октябрьское утро. Тетя Ядзя хаотично заранее собрала наши пожитки, беря в первую очередь какие-то памятные вещи и забывая о необходимой одежде или постельных принадлежностях. Впрочем, и так некому было бы нести тяжелый багаж. Затем мы пошли с узлами на железнодорожную станцию. Я шла, держа Тадека за руку и стараясь не потеряться. То выступление из города недавно припомнил мне замечательный роман «Ганеман» Стефана Хвина⁴⁷, который я получила возможность прочесть с большим запозданием. Подобным образом покидало Гданьск немецкое население, правда, их ждали корабли, не без успеха торпедируемые русскими, а нас – лагерь в Урсусе⁴⁸ и дальнейшая дорога: налево – в деревню, направо – в Освенцим. Перед моими глазами все так и стоит тот немецкий офицер, который с мертвым выражением лица движением руки как хлыстом делил нас на две группы.

После недолгого пребывания в Урсусе, где мы спали на полу в заводских цехах, по милости того офицера мы оказались в вагонах для перевозки скота, которые, как оказалось,

⁴⁷ Роман вышел на русском языке в переводе К.Я. Старосельской в 2003 г. *Прим. пер.*

⁴⁸ В настоящее время Урсус – это один из районов Варшавы, в 1944 г. здесь находился завод. *Прим. пер.*

везли нас в Мехувское⁴⁹. По пути люди бросали нам буханки хлеба, первые после перерыва в более чем два месяца. Кто-то вытащил нож и нарезал большими ломтями хлеб для тесно набитых в вагон варшавян. Во время деления было тихо, никаких ссор. Наш вагон (про другие не знаю) был выгружен в Кошице, где нас ждали подготовленные активистами Главного опекунского совета⁵⁰ кипящие котлы с горячим супом и белый свежий хлеб, которого мы давно уже не видели! После этого угощения нас погрузили в подготовленные заранее телеги, и наша тройка вместе с другой тройкой: матерью и сыновьями, Вацеком и Томеком Макарчиками, отправилась в Якшице, то есть в зажиточную деревню, где непрошенных гостей встретили приветливо – для начала нас поместили в одной избе на свежей соломе и снова накормили. Никто не возмущался, не упрекал, и, кажется, особенно не расспрашивал. Вот так, две женщины и четверо детей, трое мальчиков и одна девочка, все скромно одеты, но улыбаются. Горстка несчастных варшавян, изгнанных из своих домов. Что поделаешь – надо их где-то разместить...

Недолгое пребывание в Якшице после ночных кошмаров последних недель восстания оказалось настоящим отдыхом. Еда была простой, но вкусной, и как же она отличалась от

⁴⁹ Мехувский повят с центром в городе Мехув в настоящее время входит в состав Малопольского воеводства. *Прим. пер.*

⁵⁰ Главный опекунский совет изначально действовал в 1916–1918 гг. в Царстве Польском, а в 1940 г. он возобновил свою деятельность с разрешения оккупационных властей. *Прим. пер.*

супа из молотого овса, который то и дело приходилось сплевывать, суррогатного, получаемого по карточкам свекольно-морковного мармелада, заплесневевшего сыра и корочек сушеного старого хлеба! Когда мы приехали, на деревьях еще были плоды – яблоки и сливы. Изголодавшиеся по давно невиданным лакомствам, мы бросились на них – вопреки всем предупреждениям – все четверо. Результаты оказались плачевными; нужник все время был занят одним из нас.

В деревне хлеб был свой, выпекался в огромных печах, иногда его даже смазывали смальцем или сливочным маслом, а в придачу к нему еще было замечательное кислое молоко с картошкой и крошеным луком, супы с мучной заправкой и так далее. Никто нам в еде не отказывал, а были мы на шее у крестьян несколько месяцев – до освобождения в январе 1945 года и до отъезда в Сершу! Тетя Ядзя, как обычно, начала уже в Якщице давать уроки – в том числе и в усадьбе землевладельцев – и, кажется, она что-то вроде за это получала. Она также учила меня и Вацека.

Я же в Якщице вспомнила, как мы в гетто играли в кукольный театр, как построили сцену и делали фигурки на палочках, одетые в разноцветную одежду из папиросной бумаги, и как «поставили» историю из театра Бай⁵¹ «Про Касю, потерявшую гусей». И я начала делать такой же маленький театр. Тетя Ядзя поддержала мою идею и написала но-

⁵¹ Театр Бай – старейший кукольный театр в Польше, действующий с 1928 г.
Прим. пер.

вый текст «Зимняя сказка». Я, наверняка не без помощи Вацека, занялась куклами. Затем мы проговорили всю историю попеременно с тетей, которая еще играла на губной гармошке, в то время как я за занавесом перемещала куклы. Сначала были репетиции и спектакль для соседских детей, потом мы решили позвать всю деревню. И действительно, в самую большую комнату, превращенную в зал с расставленными рядами стульями, пришло много людей. В первом ряду сидели два ксендза, а также семья помещиков Подлодовских с сыном Казюлеком, а также якщицане с детьми. Кто-то даже положил шапку и посыпались пожертвования значительная часть которых, по утверждению тети Ядзи, загадочным образом исчезла. Однако что-то все-таки осталось. А самыми важными были аплодисменты и успех нашего спектакля.

Я еще принимала активное участие в подготовке вертепа на Рождество: и изображала... Матерь Божью, облаченную в красиво задрапированную белую простыню, а в руках держала большую куклу. Были еще Еврей, Ирод и Дьявол. Все согласно тексту, издавна представляемому в Якщице. Также там сохранилась традиция ходить ряжеными по домам с колядками и хлестать плетеными из соломы плетками девушек, которые с хохотом убегали. Считалось, что это должно было принести им счастье или скорое замужество. Обход домов традиционно начиналось со слов: «Мы, ряженные, к вам в сочельник пришли, а ну сказывайте, были у вас ряженные, или нет, мы, ряженные, к вам пришли». Хозя-

ева угощали стопкой водки и клали в корзины куски колбасы, хлеба, пирогов и прочую провизию. Все это мне ужасно нравилось и наряду с наряженной елкой было огромным развлечением. Пасхи в Якшице мы не дождались, к всеобщей огромной радости.

В январе приближавшийся фронт был слышен все громче и громче. Уходившие немцы украли наше одеяло, что оказалось большой потерей зимой. В один из январских дней на кухне снова появился немец и жестами, указав на мешок картошки, велел ее почистить. Однако он не успел ее съесть, потому что пришел приказ отступить, и нужно было быстро уносить ноги.

Крестьяне боялись, потому что ходили слухи о грабежах и изнасилованиях. Когда стало ясно, что освободители недалеко, мы все уже сидели в подвале – в погребе для картошки. В какой-то момент во дворе слышались голоса. Никто не хотел выходить первым: а что, если будут стрелять, подумав, что это «фашисты»? Тетя Ядзя набралась смелости и направилась вверх по лестнице. Она увидела высоких мужчин в белых комбинезонах. Они только спросили: «*Где германцы?*» И когда они узнали, что те бежали на запад, то на всякий случай выстрелили в их сторону. Затем наступила тишина. Крестьяне тоже вышли во двор. Завязалась беседа, частично с помощью жестов, и, в конце концов, офицеры остановились в нашем доме. И это они съели ту картошку, вытащив из вещмешков сало и чеснок. Они были яв-

но интеллигентами, я помню, что они ели вместе с Ядвигой, делились тем, что имели, и любезно общались с помощью слов и жестов. Потом они заснули мертвецким сном на полу, а утром отправились дальше. Эти с передовой никогда не грабили. Конфискацией добра занималась вторая и третья линия фронта. Тогда уже лица женского пола, от самых маленьких до самых старых, были спрятаны на чердаках и в сараях; также было известно, что в первую очередь они ищут часы и забирают все, включая будильники. Было много анекдотов про «часовщиков», как их называли. Смеялись над их обтрепанными шинелями и винтовками на веревке. А они шли и шли; единственный вопрос, который задавали, был: «А до Берлина далеко?».

Наконец, фронт передвинулся, жизнь успокоилась, и приезжие гости начали думать, куда податься. Было известно, что Варшава полностью разрушена, а ближайшим крупным городом был Краков, в котором – после освобождения, именно так тогда говорилось – уже была какая-то власть, работали учреждения и школы. И действительно, тетя Ядзя отправилась в феврале 1945 года в расположенный у стен Вавельского замка город, нашла какое-то учебное учреждение и получила направление в гимназию в Серше, т. е. в небольшой шахтерский поселок рядом с Тшебиней, входившей во время оккупации в состав рейха. Мы попрощались с хозяевами и семьей Макарчиков, выразив надежду, что встретимся в Варшаве, как, впрочем, в будущем и оказалось. Соби-

рать было практически нечего. В один морозный мартовский день 1945 года мы покинули деревню. Сначала точно помню, что какие-то крестьяне везли нас на телеге, а что было дальше – понятия не имею.

Нас радушно встретили в Серше. Из-за нехватки учителей тетя Ядзя, как учитель польского языка, взялась за ведение уроков ее любимой литературы. Нам выделили комнатку с печкой, и началась новая жизнь. «Моя Польша» сначала расширилась за счет части Меховского повята, а теперь и горнодобывающего района.

Каждое утро было видно, как шахтеры с лампочками на касках и в руках тянутся цепочкой на работу. А мы – в школу. Война все еще продолжалась, через громкоговорители транслировались последние новости. Наша одежда полностью сносилась; моим нарядом занялись жены инженеров, особенно одна из них, мама моей школьной подруги, Крыси Валах. Кроме того, я подружилась с симпатичной Ирккой Шиманьской, у которой бывала дома.

У нас не было ни учебников, ни тетрадей. Тетради мы делали из любой бумаги, а некоторые довоенные учебные пособия, такие как «Хрестоматия по польскому языку» Игнация Хшановского, мы брали у местной интеллигенции, в домах которой они еще сохранились. Так что домашнюю работу мы делали вместе, в основном с моей ближайшей подругой Ирккой, с которой я нашла общий язык. Мы были с ней одного мнения, особенно в том, что касалось восстания – оно

провалилось, потому что большевики не пришли на помощь.

Антисоветские настроения были всеобщими. Тетя Ядзя никогда по этому поводу не высказывалась. Она с большим сочувствием встретила первых офицеров в Якшице и с огромным отвращением относилась к мародерам. И дело было не в их национальной принадлежности. Однако наиболее заметной была ее ненависть к немцам. Слишком свежи были еще воспоминания о расстрелах на улицах, облавах, депортациях и запретах, нарушение которых грозило смертной казнью (за перевозимый за пазухой шмат мяса, за тайное обучение, не говоря уже об участии в подполье или всего лишь за то, что ты был евреем), чтобы можно было забыть об этом. Так, в любом случае я, четырнадцатилетняя девочка, это воспринимала.

Одно то, что можно было просто ходить в гимназию, было огромной радостью. А день 9 мая, когда был объявлен конец войны, вызвал неистовую радость. Включили все сирены на шахте, а люди на улицах обнимались и весело смеялись. Наверняка никто тогда не задавался вопросом, что будет дальше. Самое главное, что «глупый художник войну проиграл», как в популярной песенке «Топор, мотыга», пели в трамваях в Варшаве еще до того, как это произошло. Радовались тому, что русские с американцами обнимаются на Эльбе. Царило убеждение, что союзники о нас не забудут...

Серша был лишь небольшим эпизодом в моей послевоенной жизни – я была там только с марта до конца июля пер-

вого послевоенного года. Мне нравилась местная гимназия, наконец, уроки велись на польском языке, и не приходилось это скрывать! Во время выступления молодежи в Доме культуры мы все вместе читали «Оду к молодости», а одновременно исполнялся «Марш Домбровского»⁵². Родители в зале плакали, а у нас стоял ком в горле. Однако Серша была лишь поселком в медвежьем углу, а нам хотелось получить какую-то информацию: кто спасся, где сумел устроиться, что происходит в Варшаве?

Тетя Ядзя отправилась вместе с нами в Краков, чтобы что-то узнать и оставить там сообщение о нас. Мы заходили в разные места, в том числе и в Еврейский комитет. Это казалось настоящим шоком для меня. Я не думала, что такие евреи могли где-то уцелеть. Я чувствовала себя совершенно чужой, я не понимала, о чем они говорили между собой. Я испугалась, что тетя Ядзя меня здесь оставит, здесь, среди людей, которых я не признавала за своих. Оккупация убедила меня в том, что быть еврейкой – это нечто низшее, позорное. Я хотела любой ценой остаться Викторией Заленской. Тетя Ядзя сумела убедить меня, горько плачущую, что речь идет только о ночлеге, о том, что утром она придет за нами, за мной и Тадеком, и что мы вместе вернемся в Сершу. Ей было важно оставить везде, где только возможно, сообщение с адресом о том, что мы живы. Настало время повсеместных розысков. По радио, на стенах, в местах проживания и там,

⁵² Речь идет о поэме А. Мицкевича 1820 г. и гимне Польши. *Прим. пер.*

где собирались люди, кругом оставались записки с именами и адресами. Иногда эти уведомления давали результаты. Так случилось и с нами. Сбылись слова Отца, что нам повсюду везет на хороших людей. Однажды пришло известие о том, что Отец, Зося и ее сестры (Ядзя Плевкова с мужем Максом и сыночком Рысем, а также Марыхна Меер с Богусем) находятся в Кельце. Какая радость! И вскоре следующее: что в Варшаве уже есть дядя Дудек, который пошел на улицу Электоральную и на стене рядом с нашей «висящей» лестницей, потому что дом был полностью разбомблен, обнаружил надпись мелом «ВИСЯ», а затем выяснил, что его брат Юзек жив, что он с Зосей в Кельце, а я – в Серше. Затем вернулась из лагеря для военнопленных Тэтка. Я осталась в Серше еще до конца июля (нам продлили учебу), чтобы получить свидетельство об окончании второго класса гимназии с подписями директора Знаньского и учителей: Ядвиги Съверчиньской, Зофьи Гилкнерейнер (Замейской), Ирены Арендс и некоторых других.

12 июля 1945 года я писала из Серши:

«Дорогой дядя Дудек!

Я очень обрадовалась, получив Твое письмо. Я очень скучаю по всем вам и по Варшаве, хотя здесь так красиво. [Мне особенно нравился небольшой лес, который шел через Сершу. Я исчезала там даже по вечерам, что доставляло беспокойство тете Ядзе]. У меня очень хорошие подруги и друзья. Приближается конец учебного года (31.VII), поэтому мы готовим

представление. Я изображаю такую старую Куму Марчинову на крестьянской свадьбе. Целыми днями я занята, потому что я учу своих друзей петь, у меня самой одна из самых больших ролей (к моей радости). Эта неделя проходит под знаком контрольных – но так или иначе получается. У меня неплохие оценки. За исключением тройки по латыни, которую я терпеть не могу, все остальное хорошо и отлично. Я получила Твое письмо в гимназии, и пишу ответ во время урока. У меня веселое настроение. С нетерпением жду звонка. По классу ходят карикатуры, а на предыдущем уроке была контрольная».

Явно прозвенел звонок, потому что письмо осталось неза-
конченным.

В конце июля за мной приехал Отец, и мы поехали в Кельце. Они оба с Зосей уже работали. Где и как – я понятия не имела в то время. Я узнала обо всем спустя много-много лет и описала в книге, посвященной моему Отцу, «Пан Пу-хатек», в которой приводится больше моих предвоенных и послевоенных воспоминаний.

От Кельце в памяти остались только замечательные посылки ЮНРРА⁵³, деликатесы в виде нуги и яичницы с ветчиной, какая-то полученная одежда, потому что, конечно, я была полностью раздета – из того, что мне сшили в Серше, я уже успела вырасти. Летний месяц пролетел быстро, к

⁵³ Администрация помощи и восстановления Объединённых Наций (англ. United Nations Relief and Rehabilitation Administration UNRRA). *Прим. пер.*

нам также приезжала в гости тетя Ядзя, и, по словам Зоси из письма к Отцу, я была «веселой, живой, милой». В конце августа я с Отцом отправилась в Варшаву, потому что ведь 1 сентября начался учебный год, а мои взрослые не собирались оставаться в Кельце.

В сентябре и октябре мы жили на улице Явожиньская у Милицы и Марыси Хермелин, сестер Алины Прагер-Янковской, подруги Мамаши. Зося расспрашивала в письмах, как мы справляемся, кто стирает Отцу рубашки, потому что «у Вишеньки скорее всего хорошо не получается», как мы хозяйничаем, «моет ли Вися голову» и так далее. Уже после публикации книги об Отце я обнаружила одно из моих писем за этот период, датированное 1–3 сентября 1945 года; вместо того, чтобы описывать свои первые впечатления, лучше приведу его полностью:

«Милейшая и дрожайшая Зося!

Не сердись на меня, что я до сих пор Тебе не написала, но как-то... время прошло... Грустно здесь без Тебя, не хватает, хотя время летит быстро. Но все не так, как я себе представляла, только... лучше!!! В сто раз лучше! Так что, прежде всего – квартира очень, очень хорошая, наверняка мы все вместе отлично поместимся, нам будет хорошо. Есть шикарнейшая газовая плита, тепло – вода и свет. Да и сама Варшава не произвела на меня такого ужасного впечатления, как я думала – напротив, каждая улица была мне так дорога, а к развалинам я привыкла во время восстания. Здесь

столько всего происходит! Женщины-фольксдойче и немцы [мы очень долго с убеждением писали «немцы» с маленькой буквы, что подтверждает и Ярослав Ивашкевич в недавно опубликованных дневниках]⁵⁴ разбирают завалы – а по Маршалковской уже даже ходят трамваи!

И все здесь такое старое, знакомое и свое – любимое. Что касается этой новой гимназии, то я разочарована – товарищи мои достаточно противные – уровень знаний средний, редко кто занимается. Больше всего меня беспокоят уроки религии. Потому что, если я скажу, что неверующая, у меня будут неприятности, опять же этот ксендз... ах! Какой-же он идиот, просто изверг, все-время общается с нами на повышенных тонах, да и вообще не ясно, что мне делать дальше. Учеба дается мне легко. Скоро я получу школьный фартук, а еще мне шьют пальто. А! И еще одна важная вещь [в этом месте зачеркнуто: «Моя голова ужасна!!!» Речь идет, конечно, о вшах...]. Что с расческой? Нам купить здесь, или ты передашь через Казю? Реши, пожалуйста. [Вверху над этой строкой, дописано позже: расчески не покупай, у меня уже есть].

Представь себе, что я сама веду хозяйство, с сегодняшнего дня я готовлю обеды, в том числе для Папочки. Большое тебе спасибо за письмо от Ханки. Как поживает пани Ядзя? А Рысь и пан Макс? Передайте им от меня сердечный привет (а еще малышу Богосю и пани Марыхне). Я уже получила 5 писем из

⁵⁴ В польском языке национальности пишутся с большой буквы. *Прим. пер.*

Серши! Много, правда? Но я мало пишу в ответ, как-то не хватает времени. Я была уже на площади Збавичеля – взяла какие-то остатки вещей – и в районе Прага, парке Агрикола. Я отлично лажу с Ежи – мировой парень. Я еще виделась с дядей Дудеком, он действительно мало изменился; но представь, что Тэтка меня не узнала! С той панной Марысей [Хермелин] то так, то сяк – она ужасная зануда. Были тут еще пани Миля и Алина. Я не могла с ней наговориться. Когда я поеду в Лодзь, то снова ее навещу!⁵⁵

Прости, что уже заканчиваю письмо, больше напишу завтра.

Тем временем я тебя крепко-прекрепко целую.

Вися»

На следующем листе приводится список «Вещи, которые нам сейчас нужны, в особенности миска и жир: деньги, кастрюльки, уют, нитки для штопки, зеркальце, таз!!! мука, салфетка». И далее:

«P.S. 3 IX 1945 г.

Я как-то по хозяйству справляюсь, но я ужасно переживаю, что ты не приедешь [отъезд Зоси из Кельце задержался на месяц]. Я стараюсь сделать так, чтобы в доме было как можно приятнее, но это сложно из-за отсутствия мебели и украшений – салфетки, кувшина.

⁵⁵ Алина Янковская сразу после войны начала работать в Лодзинском университете у преподававшей там профессора Либрах. Здесь же она защитила кандидатскую диссертацию по теме имитационного поведения у младенцев. Мы с ней очень часто виделись.

Если можешь, пришли немного крупы, гороха, фасоли, потому что здесь ничего, совсем ничего нет. Об остальном подумай сама.

Целую тебя от всей души,

В.»

Я ходила в гимназию имени Коллонтая на Польной. Я себя чувствовала там не самым лучшим образом, хотя через какое-то время меня и включили в так называемый круг. Но, несмотря на это, я была «чужой». У меня не получалось сблизиться с Союзом борьбы молодежи (ЗВМ), потому что они поражали своей примитивностью, ОМТУР не было. Однако у меня вызывал уважение председатель ЗВМ, некий Венгрович, за смелость противостоять большинству и желание учиться. У него была дыра в голове, кожа на ней была то вогнутой, то выпуклой – я не отважилась спросить, что с ним случилось. Мы встретились спустя годы в Ленинграде, где он также учился. Я подружилась с одноклассницей, которая была старше меня и имени которой я уже не помню. Я часто заходила к ней, потому что жила рядом, однажды она сказала мне на ухо, что в доме есть ее тяжелораненый жених. Времена, как известно, были беспокойными, «лесные люди» не сдали оружие... Но мне ни на минуту не пришло в голову, что я могу кому-нибудь об этом рассказать.

Отец стал одним из заместителей директора издательства «Ведза» Польской социалистической партии, членом которой он был. Зося тоже приехала и начала работать редакто-

ром. Однако совместное проживание в одной комнате оказалось невозможным. Я не была хорошей девочкой, которой можно было легко руководить. Я с радостью согласилась на перевод в школу ТПД (ранее РТПД) в районе Жолибож – в ту самую, в которую я ходила до войны. При школе был организован интернат, и это решило все проблемы. Школа носила имя Болеслава Лимановского, чьи многочисленные работы – и он сам как герой – сопровождали меня на протяжении всей моей взрослой жизни уже как профессионального историка.

Еще в первом семестре 1945/1946 учебного года я сидела за партой рядом со своей новой подругой Терезой Йонкайтис, известной в будущем художницей, по мужу Солтан. Двумя классами младше учился ее брат Мариан Йонкайтис, в будущем популярный актер, а потом активист Общества сибиряков⁵⁶. В школе оказалась целая группа детей, прибывших из СССР. Они никогда не рассказывали, почему они там оказались и что пережили. Как, собственно, и я, и другие ученики-евреи. Об их происхождении я узнала уже будучи взрослой, в Обществе детей Холокоста, где мы встретились. Мне кажется, что это было вызвано не страхом, а нежеланием возвращаться к пережитым ужасам. Это было какое-то сдерживание, проявлявшееся у каждого по-своему, и в то же время схожим образом – военный опыт отражался на настро-

⁵⁶ Осенью 1939 г. их отец был арестован НКВД, весной 1940 г. вся семья была депортирована в Северный Казахстан. *Прим. пер.*

ении, возвращался в ночных кошмарах, вызывал депрессию, причины которой мы не понимали в то время. Поэтому, может быть, в школе я пыталась распрощаться с тем миром, хотя для этого, не было видимых причин... Или, может быть, я просто хотела обратить на себя внимание? Так или иначе, меня забрала тетя Эля, жена Дудека, в свою квартиру, находившуюся в районе Прага. Оттуда меня и жившую неподалеку Аню Трояновскую отвозил на уроки ее отец, в то время министр или замминистра образования, однако, он всегда ставил машину подальше от школы, чтобы никто не видел, что мы не пользуемся городским транспортом. Мы возвращались домой на грузовиках, заменявших автобусы, в них были установлены вдоль скамейки, но большинство пассажиров ехало стоя, сдавленные до невозможности. Аня быстро стала моей самой близкой подругой, я часто ночевала у нее, и мы вместе готовились к урокам. Она была талантлива как в художественном, так и в литературном плане: в написании сочинений мы соревновались друг с другом.

На зимние каникулы и Рождество 1946/1947 г. меня пригласила к себе домой Тереза Йонкайтис. Ее семья жила тогда в Шклярской Порембе. Главой семьи была седая, пожилая, как мне казалось, женщина; о ее муже тогда не говорили. Две очень симпатичные сестры Терезы были заняты приготовлением еды, в первую очередь крещенского сочельника с сеном под белой скатертью. Была, конечно, огромная рождественская елка, пели колядки, делились облаткой, и была

действительно праздничная, радостная атмосфера. Мы ходили гулять к водопаду, в горы, курорт был пустынным, в некоторых домах все еще жили немцы, скорее по большей части немки, но они явно не хотели попадаться на глаза. Снег хрустел под ногами, укутанные им деревья вызывали полный восторг. Только я была единственной, кто не соответствовал этой расслабленной и приятной атмосфере. Я привезла с собой брошюры из марксистской библиотеки и с воодушевлением изучала Каутского и Плеханова, к изумлению хозяев, которые, однако, виду не подали. Спустя годы, я только понимала, насколько они должны были быть шокированы подружкой своей младшей дочери. Кроме того, мы обе помимо рождественских колядок пели советские песни (Тереза правильно, а я немного фальшивила; мне кажется, мы пели под какую-то пластинку, крутившуюся на доставшемся от немцев патефоне, но я не уверена в этом). Сестры с упреком говорили ей: «Неужели тебе хочется это петь? Мало тебе этого было?»

В школу я ходила охотно, там царил доброжелательная атмосфера, и ученики любили учиться – военное поколение соскучилось по нормальной учебе. Первые выпускные экзамены были в 1948 году, и их сдавали, вероятно, человек пять. Я помню художницу Ханку Пулавскую и будущего психиатра Юлека Сулигостовского (если я не путаю их имена). Здесь я сначала сдала переводные экзамены, а еще через два школьных года 1947/1948 и 1948/1949, которые я провела

в лицее, – выпускные экзамены. В гуманитарном классе нас было всего около десятка человек; среди мальчиков выделялся Богдан Войдовский, сосредоточенный, неразговорчивый, всегда сдававший прекрасные сочинения, говорящие о писательских задатках будущего автора «Хлеба, брошенного мертвым»⁵⁷. Анджей Ясиньский, в свою очередь, стал нашим героем, потому что, еще будучи учеником, ожидал рождения своего сына Гжеся; его мамой была учившаяся в школе имени Стефании Семполовской Кристина, которая позже – уже в институте – бросила Анджея, выйдя замуж за другого, а затем стала пользующейся превосходной оценкой историком новейшей истории. Тереза Йонкайтис пошла в математический класс, как и Лодзя Ярецкая, которая, как мы знали, сама сбежала из Страны Советов, ударив какого-то пытающегося удержать ее человека в пах и доехав до Польши под вагоном со многими приключениями. Она, наверное, была единственной, кто об этом рассказывал.

Учили нас прекрасные учителя, прежде всего Здислав Либера – польскому – и Хелена Жмиевская – латыни. На ее уроках царила абсолютная тишина. Она пользовалась невероятным авторитетом, поэтому я старалась изо всех сил освоить нелюбимый до того времени предмет. Потом мы радовались, когда наши профессора поженились, а затем 19 апреля 1949 года – незадолго до наших выпускных экзаменов – появился

⁵⁷ Роман был написан в 1971 г., посвящен жизни и гибели Варшавского гетто в 1940–1942 гг. *Прим. пер.*

маленький Антось.

Истории нас учил худой Чеслав Шибка, а поскольку учебников не было, он тематически, а не хронологически излагал нам историю, а мы должны были быстро за ним записывать; он объяснял доступно, при этом немного презрительно высказывался о коронованных особах (например: «Виля наломал дров и ему пришлось убираться...»). Во время рождественской мистерии мы пели: «Профессор Шибка шибко диктует / славных людей не шибко шанует...». И он нам нравился. И прекрасного математика, который был снисходительным к гуманитариям, мы тоже любили. «Физичка» была как из романов о рассеянных учителях; она приходила с одной нарумяненной щекой, растрепанная, в чулках разных оттенков и т. д. Мы ей это прощали, главное было, чтобы она нас не слишком мучила опросами. Мы докучали, от чего мне до сих пор неудобно, нашему «англичанину», задавая ему глупые вопросы, выходя по очереди в туалет, пока класс не пустел, и придумывая различные шутки. Видимо, он случайно стал учителем, не испытывал любви к профессии и не контролировал класс. Конечно, нам в голову не приходило проявить какое-то насилие или грубо повести себя с нашими учителями. Мы были «военным поколением», деморализованным жестокостью войны, но мы искренне любили и уважали наших учителей и воспитателей. И по сей день я испытываю благодарность к ним за все, что они мне дали.

На большой перемене приносили котлы с супом, и мы все

ели горячую пищу, как те, кто пришел из дома, так и те, кто жил в интернате и в Нашем Доме в районе Беляны⁵⁸. Мы также носили фартуки и белые воротнички, против чего мы не возражали – одежда была холщовой, и таким образом стирались различия. На самом деле мы с подругами ничего не знали о материальном положении наших одноклассников. Тогда нас это совершенно не интересовало.

В то время я входила в школьную дружину скаутов, чему подтверждением служит фотография из поездки в Краков и Закопане, где я стою с группой в харцерской форме, а также открыткой, высланной Отцу и Зосе 4 августа 1946 года из Лонцека под Гостыниным: «Мне очень нравится в лагере. 1 VIII у нас был оч. торжественный Костер [вероятно, в связи с годовщиной Варшавского восстания]. Сегодня мы идем к харцерам из Плоцка на выступление. У нас были ночные походы – и вообще здесь здорово. [...] Однако и дел здесь полным-полно – мы должны все делать сами. Я никогда еще в жизни так не трудилась».

В то время харцеры готовили сами, их никто не обслуживал, они приобретали новые навыки, за что получали харцерский крест. Это была отличная школа жизни, еще без идеологии, в сочетании с отдыхом.

Чуть позже я записалась в кружок ОМТУР, я даже что-то писала для газеты, но что – не могу вспомнить. Зато я при-

⁵⁸ Наш Дом – детский дом, существовавший с 1919 по 1946 гг., возобновил свою деятельность в 1991 г. *Прим. пер.*

поминаю такую историю: в районе Жолибож в школе имени Семполовской училась Алиция Лисецкая, в будущем известный сотрудник Института литературных исследований ПАН, подопечная Стефана Жулкевского, но прежде всего, единственный руководитель редакции литературного варшавского еженедельника «Культура». В то время она громко заявляла, как говорилось, о своих реакционных взглядах, говорили, что она с увлечением читает «Майн Кампф» и другие вызывавшие подозрение книги. В каком-то журнале была даже статья о молодежи, где противопоставляли нас, «прогрессивных», этим «реакционным» с Алицией во главе; по очереди перечисляемые ученики обосновывали свои взгляды; кажется, что были даже фотографии. Вскоре подобные честные заявления стали уже невозможны, то есть возможность высказаться имела только одна сторона.

На собраниях кружка ОМТУР я не чувствовала ни скуки, ни того, что меня принуждают участвовать в дискуссиях. Мы считали себя лучше членов ЗВМ, более критичными, более серьезно относящимися к учебе и своим обязанностям. Я помню, что участвовала в расчистке Варшавы от завалов, изучала и обсуждала вышеупомянутые брошюры, а также припоминаю какие-то собрания в штаб-квартире, вероятно, на улице Мокотовской, где представитель руководства, высокий брюнет, который был старше нас, успокаивал нас словами: «*Silentium silentium*, нам еще предстоит решить *multum* вопросов, а *tempus fugit!*». Что это было за «множе-

ство вопросов» уже и не помню. Одним из них было участие в первомайских демонстрациях, куда мы шли со школой, без сопротивления, как группа ОМТУР.

Второе варшавское лето я провела частично на Курсе школьных лидеров в Центре социалистического обучения им. Станислава Дюбуа в Отвоцке. Он продолжался с 1 по 27 августа 1947 года, о чем сообщается в пожелтевшем «свидетельстве», подписанном председателем ЦК ОМТУР Луцианом Мотыкой и руководителем Отдела социалистического воспитания Юлиушем Салони. В завершении курса я получила «общую оценку»: «отлично». Мне больше всего запомнился среди преподавателей Ян Муляк, именуемый Ясем, он организовывал для нас спортивные игры, и его все любили. Он стоит рядом с нами на коллективной фотографии, единственной, кого я хорошо помню среди многих других, ничего не говорящих мне лиц. В своих воспоминаниях он даже писал о моем Отце.

Следующее лето – это эра объединения партий и молодежных организаций. Я оказалась, хотела я того или нет, в ЗМП. Дома, на улице Красиньского 18, в 4-й колонии Варшавского жилищного кооператива, где Отец с Зосей – уже официально как супружеская пара – получили однокомнатную квартиру без ванной комнаты на верхнем этаже под крышей; атмосфера была довольно мрачной. Отец был решительным противником слияния ППС и ППР. Я много раз слышала, как он говорил, что старый рабочий-член ППС

убеждал его, что должны существовать две рабочие партии, чтобы одна могла пристально наблюдать за другой. Оба были исключены до объединения (Отец как «чуждый элемент»). Отец не был уверен, как в дальнейшем пойдут дела, какую получит работу. Однако это никаким образом не повлияло на мое обучение; я закончила первый класс лицея.

Летние месяцы я частично провела в снятой тетей Элей квартире «для детей» в Отвоцке. Еще я отправилась в поездку с группой Польского союза молодежи – я увидела тогда выставку, посвященную Возвращенным землям. Я жила в кемпинге, ни с кем не была знакома, поэтому я гуляла одна, посещала огромные выставочные залы, немного ходила по городу. Нами мало занимались, все в основном были старше меня; пили и уединялись по палаткам. Только это и осталось у меня в памяти. И еще были гораздо старше меня симпатичные ребята, с которыми я иногда бродила. Я даже была готова принять их приглашение зайти домой – видимо, они были из Вроцлава – но самый старший посмотрел на меня и сказал: «Слушай, детка, аккуратней с такими приглашениями, лучше тебе отказать». И снова, спустя годы, я осознала, что за угрозу избежала в то время.

Вернувшись в Отвоцк, я застала там двоюродную сестру из Парижа (ее отец, брат моего отца, только что вернулся из Освенцима), которую пригласили, чтобы она у нас подкормилась. В столице Франции еды не хватало, все было по карточкам. Ее сопровождал наш родственник, мулат Луи Ла-

нуа, который все время готовился к экзамену по английскому языку. Я также ходила на дополнительные уроки (в школе мы ничему не научились у преследуемого, несчастного «англичанина») и покупала разные изданные за границей книги, в том числе, «По ком звонит колокол» Хемингуэя в оригинале. Так что мы прекрасно общались на элементарном английском и при помощи языка жестов.

Даже после объединения партий и молодежных организаций до наших классов не дошла волна промывания мозгов; в нашей школе продолжали, как и раньше, преподавать давние учителя, тщательно готовя нас к выпускным экзаменам; никто из нас не посмел их поучать. Чем ближе мы были к последним экзаменам и принятию решения о дальнейшей учебе, которую все мы собирались продолжить, тем больше наших школьных товарищей из всех выпускных классов вступало в ряды ЗМП – было широко распространено убеждение, что без членства в этой организации попасть в вузы будет сложно. Школьные советы ЗМП тайно уже давали характеристики, которые имели решающее значение в случае поступления на популярные направления. Я знала об этом, не протестовала, и до сих пор испытываю угрызения совести.

Конечно, все прошло традиционным образом – сначала за сто дней до выпускных экзаменов был бал: девушки в белых блузках, полонез вначале, потом танцы, в том числе популярные буги-вуги и рок-н-ролл. Как ни странно – без алкоголя! Может, впрочем, ребята что-то пили, но я в любом

случае этого не заметила.

Май в тот год был жарким, цвели как обычно каштаны, экзамены по всей Польше проходили одновременно. Я сдавала математику, польский, кажется, также историю, но, возможно, я что-то путаю. Тема, которую я выбрала на польском, была уже с пропагандистским душком: «Почему мы торжественно отмечаем юбилеи Мицкевича и Шопена в Народной Польше?» Однако то, что я писала, не имело ничего общего с пропагандой. На математике кружили шпаргалки, и были приглашены несколько сильных в математике товарищей из лицея имени Понятовского, чтобы в случае необходимости оказать поддержку гуманитариям. После экзаменов в школе снова был бал. Опять в белых блузках и темных юбках. Учителя начинали обращаться к нам, используя «пан» и «пани» (это было принято уже после переводных экзаменов в лицей, но мы все тогда выступили против). Дома отнеслись как-то спокойно к тому, что я все хорошо сдала – я не получила никакого подарка, что меня ужасно разочаровало. Вообще то, что я хорошо училась, воспринималось как должное.

После торжественного вручения аттестатов зрелости мы отправились целой компанией выпускников праздновать с вином и пирожными в местное кафе-кондитерскую. Дома я рассмешила всех, когда на вопрос, что за вино мы пили, ответила: «Виньяк»⁵⁹. Действительно, так было написано на

⁵⁹ «Виньяк» – польский коньяк. Название на польском языке созвучное слову

этикетке. То, почему смеялись, я узнала гораздо позже.

Моей мечтой было изучение истории литературы, то есть польский или русский филфак, но мой отец твердо сказал, что изучение литературы имеет смысл после того, как сначала будут приобретены исторические знания, и только на втором или третьем курсе можно начать параллельное обучение в качестве литературоведа. Поэтому, к удивлению профессора Либеры, я подала документы на историю, не подозревая, что вскоре такой возможности одновременного обучения на двух направлениях уже не будет. И так, *nolens volens*, я стала историком.

* * *

Вот кем были авторы этой книги, которым не исполнилось еще и двадцати лет, когда они решили учиться в Стране Советов. Мы мечтали о приключениях, финансовой независимости. О месте, куда мы собирались, нам, кроме каких-то общих представлений, практически ничего не было известно.

Учеба в СССР

Готовимся к отъезду. В пути

Незадолго до окончания средней школы пришло объявление о возможности подать заявление на учебу в Советском Союзе на любое направление в вузе; предоставлялись стипендия, общежитие и даже какая-то сумма на покупку в универмаге вещей в дорогу. Поскольку в школе мы не учили русский, перед поездкой следовало пройти месячный языковой курс с проживанием в общежитии на площади Нарutowича. Из нашей школы имени Болеслава Лимановского заявку подали трое: Алисия Янковская из математического класса, я и – после моих уговоров – Эля Кравчик из гуманитарного. Позже присоединилась еще Аня Трояновская, которая шла на художественное направление. В школе мы читали антологию русской поэзии и «Тихий Дон» в переводе Анджея Ставара. Дома, правда, рассказывали анекдоты, представлявшие советский рай в кривом зеркале⁶⁰, но это были лишь шутки. Прельщала перспектива самостоятельной и неведомой жизни.

⁶⁰ Например, на пограничной станции советские железнодорожники все время говорили: «У нас все есть». Польские решили подшутить и спрашивают: «А Амстердам у вас есть?». «Да», был ответ, «вчера два вагона разгружали».

Из курса русского языка и общих сведений об СССР не удалось почерпнуть многого: познакомились со сложными буквами, выучили несколько основных слов и пропустили мимо ушей какие-то пропагандистские заверения. Тетя Эля взялась за подготовку вещей для меня, на что ушла вся зарплата Отца, давшего лишь один совет – ничего не записывать, а если и запишу, то не оставлять в комнате; в анкете в графе «отец» писать беспартийный, работающий интеллигент, независимый научный работник; о том, что его исключили из партии – не упоминать.

Первое недоумение вызвало то, что Элю Кравчик к поездке не допустили – ее папа был таксистом. Какое отношение может иметь профессия отца (частная инициатива) к судьбе дочери? Вдобавок вскоре таксист бросил семью ради какой-то молодой...

Учиться я отправилась одна, не с группой, т. к. мой отъезд затянулся на целый месяц из-за неблагоприятного мнения одного из моих товарищей (опущу его имя) (я по неосмотрительности рассказывала анекдоты, хуже того – этот неприятный опыт меня ничему не научил...).

* * *

Я пропустил этот курс русского языка – мне пришла повестка на лето из «Службы Польше» (были такие бригады, якобы добровольные, а на практике использовавшие при-

нудительный труд, особенно в случае «непокорных»). Мой отец вытащил меня оттуда под предлогом, что я во время летних каникул буду учить русский. Но где там! Лето пролетело на берегах реки Супрасль, где с оравой ребят с улицы Сенкевича, переименованной, неведомо почему, в улицу 1 мая (другие изменения были ясны: улица Гелдова (Биржевая) стала Спудзельча (Кооперативная), а Ксёнженца (Княжеская) – Пролетарской), я проводил прекрасные жаркие дни в ее водах. Отец, который все время был занят в воеводском комитете, к счастью, ничего об этом не знал. Ему и в голову не пришло поинтересоваться моими успехами в учебе.

В путь я отправился в конце августа 1949 года, не зная даже русского алфавита, за исключением, может быть, первых нескольких букв. У моих попутчиков, неоперившихся ровесников из разных уголков Польши, все вызывало восхищение. Уже сам поезд возбуждал неопишуемый энтузиазм – удобные, широкие спальные вагоны, возможность заказать чай в серебряных *подстаканниках* (это было одно из первых выученных нами слов). Впрочем, неудивительно – впервые в своей жизни они оказались в спальном вагоне, впервые за пределами страны, где после войны приходилось ездить в невозможной давке, нередко на буферах или крыше. Поэтому они с убеждением повторяли: «Таких поездов с такими вагонами нигде в мире нет». И это часто возникающее из-за невежества, а еще чаще из-за лицемерия и карьеризма убеждение в превосходстве всего советского, к моему раздраже-

нию, они позднее будут выражать на каждом шагу.

Мы проезжали станции со странным названием «Кипяток», недоумевая, почему они постоянно повторялись; и лишь позже кто-то нам сказал, что это слово означало. Кипяток был доступен пассажирам на каждой станции.

* * *

Я впервые пересекла границу в конце сентября 1949 года: Буг, затем вокзал в Бресте, паспортный контроль, потом таможня и пересадка в спальный поезд Брест-Москва с широкой колеей. Пассажирский поезд «Полонез» с маршрутом следования Варшава – Москва со сменой колес еще не существовал.

Все было в новинку, другое, интересное. На вокзале в Бресте толпился плохо одетый народ, продававший на каждом шагу «чекушки» водки и мороженое. На каждой станции по пути следования к вагонам подбегали дети и старушки с горстями ягод, прося: *«Дядя, дай хлеба, тетя, дай копеечку»*. И ехавшие военные – кроме нас, почти не было гражданских – бросали им хлеб... На станциях в Польше никто не просил хлеба. Однако я не хотела вникать в это. Я отметила факт, даже не задавая сама себе вопросов. Пока не пришло время.

Мы в Москве. Автобусами нас завезли, вероятно, на Стромынку – так называется улица, где находится студенческое общежитие⁶¹. Здесь мы должны провести ночь в огромном зале, подобном самолетному ангару, на голых матрасах. Только мы переступили порог, как один из товарищей, с которым мы вошли первыми, глядя на это поражавшее своей величиной пространство, воскликнул: «Езус, Марья...». Как оказалось позже, это был Адам, сын Леона Кручковского, автора «Немцев», «Кордиана и хама», который, как и его отец в Союзе писателей, станет одним из «дельцов» московского Землячества.

Зал был практически пустым, все постепенно разбрелись, я выбрал одну из кроватей, расставил вещи, но, когда уже собирался спать, разглядывая от скуки зал, заметил одиноко лежавшую по соседству со мной мандолину. Я взял ее в руки и начал брэнчать. «Тихо, поздно уже!», – закричал Зембаты, показав кулак. «Какой он противный», – подумал я про себя. Мне хотелось огрызнуться, но он был прав, уже было за полночь. Впрочем, что уж там. Слава Богу, отправят нас по разным институтам, и я его больше не увижу. Стало тихо. Я заснул.

⁶¹ Думаю, что это все-таки был тот же Дом-коммуны [В.С.].



На перроне в Москве выяснилось, что нас, опоздавших, несколько. Нас отвезли в знаменитый Дом-коммуны, создателем которого был сам Ле Корбюзье. От его планов построить образцовый жилой дом, где все должно было быть уютным, современным, блестящим, вдохновлять на труд и совместный отдых, мало что осталось: в залах, явно предназначенных для выступлений или лекций, были сотни металлических кроватей и груды пыльных матрасов, можно было что-то из них выбрать и провести здесь первую ночь. Еще одним шоком стало состояние санитарных комнат, доведенных до полной разрухи и, неведомо почему, соединенных между собой. Потом нас, вероятно, доставили в посольство, где совместная польско-советская комиссия распределяла последних кандидатов по учебным заведениям. Как я уже говорила, я ехала изучать историю. Я также подала на всякий случай документы в Варшавский университет. Теперь я услышала, что в университетах Москвы и Ленинграда больше нет мест, поэтому я могу поехать в какой-нибудь областной вуз или в Ленинградский государственный педагогический институт имени Александра Герцена. Надеюсь, что после первого курса я смогу перевестись в университет, я выбрала последний, хотя и не проявила никакой любви к педагогической деятельности. Поэтому уже вечером я отправилась на

так называемой «Красной стреле» в город на Неве. Элегантный скоростной поезд мчался по прямой линии, проведенной Николаем I, сквозь проделанные в скалах и насыпях туннели, ничем не напоминая о прежних болотах, в которых костями легли строившую дорогу крепостные крестьяне...

В послевоенном Ленинграде

Я ехала разочарованная, ничего не зная о городе, где должна была учиться. И снова – как в Москве – впечатления были двойственными. Город поражал гармонией улиц и зданий. На домах или, в любом случае, фасадах не было видно никаких признаков войны, как в Варшаве. В местах разрушенных домов были разбиты скверы, посажены кусты и деревья – как нам потом потихоньку объяснили. Общежитие располагалось в самом центре, рядом с Невским, на улице Желябова (ранее и ныне Большой Конюшенной, которая вела к императорским конюшням); говорили, что это был бывший отель «Медведь» с не самой лучшей репутацией.

Я оказалась в вытянутой комнате с тремя культурными эстонками, говорящими по-русски ненамного лучше меня: с Хели Вахтер, Вильмой Лаусма и Рут Тепанди. Три кровати, три прикроватные *тумбочки* и крючки для одежды. В том же здании, на тех же этажах жили студенты и студентки; большинство составляли русские, точнее – русские девушки, а также довольно большая группа иностранцев (кроме поляков были албанцы, чехи, румыны, венгры и несколько китайцев).

Я подружилась с эстонками, правда, не сразу. Они держали дистанцию, что отвечало моему темпераменту. Позже разговорились. Хели была стройной, спортивной блондин-

кой (у нее даже были какие-то спортивные достижения среди бегунов-юниоров); Вильма – полная, круглая, с милой улыбкой, мало что говорила о себе, было впечатление, что она либо влюблена, либо мечтает об этом; старшая, Рут, была женой какого-то эстонского сановника; зачем ей было учиться, я не знала.

Постепенно, слово за слово, я узнавала об арестах и депортациях, что если кого-то случайно не застали дома, он мог избежать депортации; что родители Рут, а возможно родители ее мужа находятся в Сибири, и что предпринимались усилия, чтобы их вытащить оттуда, в то же время их нужно было поддержать, отправляя посылки. Конечно, прошли месяцы, прежде чем дошло до таких признаний.



Виктория и ее однокурсница Лариса Вайнштейн в квартире родителей Ларисы в Ленинграде на улице Марата (1953)



Федор Васильевич Дятлов по прозвищу «Гигиенист», студент Пединститута им. А. И. Герцена, в комнате общежития на улице Желябова



На прогулке по Ленинграду; слева: Лева Дименштейн, Виктория, Ренэ

На историческом факультете я была только одна из Польши, кроме меня приехали учиться еще два красивых албанца – Лачи и Мойсиу. На русской филологии, в свою очередь, было два поляка – Антоний Кмита и Ренэ Сливовский (он ехал изучать медицину, потому что это была мечта его отца, который видел в своем сыне второго Юдыма, но перед комиссией Ренэ сломался и выбрал свою любимую литературу и язык). Остальные поляки решили заняться педагогикой. Это были: Станислав Брах, Данута Кишко, Чеслав Коваль, Роман Мураный, Ежи Пача, Тадеуш Прендкий и Антоний Витек. Затем из года в год наша группа пополнялась.

Я привожу имена всех «первых», а дальше лишь выборочно тех, с кем мы имели дело. Мы, как «иностранцы», были в так называемом *Землячестве*, и, несмотря на польское слово «Зёмкоство», непонятно почему использовали это русское слово. Это были специфические группы, которые в гораздо большей степени, чем русские товарищи, державшиеся на расстоянии от нас и не вмешивавшиеся в наши дела, давали понять «своим» почем фунт лиха. Спустя много лет Лариса, моя однокурсница, призналась мне, что в связи с нашим приездом всех собрали и объяснили, как вести себя с нами, каких тем избегать и о чем говорить.

Нам было в основном по восемнадцать-девятнадцать лет,

за плечами у нас была война, о своем опыте во время которой мы не вспоминали, как будто его вообще не было.

* * *

Я не помню дальнейшей дороги в Ленинград, куда я получил направление. Лишь только то, что я оказался в общежитии на улице Желябова, на втором (польском) этаже, а по-русски – третьем, перед дверью выделенной мне комнаты. Я толкнул ее. Было уже поздно, с металлических кроватей поднялись четыре головы. Для меня там явно не было места, но две из них – польские – подтвердили, что здесь должна быть еще и пятая, то есть я. Был субботний вечер, впереди – воскресенье, так что мне нечего было мечтать о том, чтобы получить кровать и постельные принадлежности. Я на мгновение беспомощно замер, когда тот, что был слева, сказал: «Иди сюда, переночуем валетом», и подвинулся как можно ближе к стене, отбросив одеяло. Им оказался все тот же Зембаты, противный тип со Стромынки, которого я якобы больше не должен был встретить...

Итак, нас оказалось в этой комнате пятеро. Помимо меня, Зембаты, то есть Романа Мураного, краковянин с венгерской фамилией – харцер (скаут), прирожденный общественный деятель, воспитатель по жизни – он сыграл важную роль в нашей (моей и Виктории) жизни. Слева за ним разместился невысокий, коренастый, кудрявый, вроде как отсутству-

ющий русский – Федор Васильевич Дятлов. Он был намного старше нас, изучал историю на четвертом курсе, точно так же, как и третий обитатель комнаты с кровати напротив, еврей из Смоленска, тихий, боязливый, приятный в общении Лев Дименштейн, которого звали просто Лево́й. Как огня избегал он трений с Федором Васильевичем. Он боялся его, что бросалось в глаза. Дятлов, в свою очередь, опасался остальных. Как только он оставался наедине со мной, то начинал говорить по-французски. Его язык был правильным, но искусственным, он медленно, задумчиво произносил слова. Откуда он знал этот французский? Он увернулся от ответа, а я вообще не очень хотел его расспрашивать. Что-то было для меня в нем отталкивающее. «Противный тип», – думал я про себя. (Спустя годы мы встретили его на Невском, он остался в Ленинграде, работал, как похвастался, в какой-то партийной школе или в чем-то подобном). Это был красочный персонаж, при этом абсолютно неприятный. Мы прозвали его «Гигиенистом», у него была привычка братья за дверные ручки через полы длинной военной шинели, кричась при этом от отвращения и говоря: «Микробы!» Перелистывая страницы книги, он не слюнявил пальцы: «Негигиенично!» Он плевал на палец с приличного расстояния и так же советовал и нам поступать, с удовольствием демонстрируя свое изобретение. О том, как он воспитывал свою подружку медсестру, с которой он систематически встречался в городе, о том, как он ее приучал соблюдать гигиену, о чем он

к тому же мне рассказывал по-французски, я предпочитаю не писать. Как только появлялся кто-нибудь из товарищей, он сразу замолкал и переходил на русский. Скорее всего, он скрывал знание французского языка. Однажды он развеселил нас до слез. Внезапно он почувствовал боль в брюшной полости. Он лег в кровать, укрывшись серым одеялом. Кто-то из нас по его просьбе вызвал скорую помощь, которая, как обычно, не спешила ехать. Федор Васильевич почувствовал себя лучше, оделся, пошел в магазин и вернулся с куском трески. Затем он пошел на общую кухню, расположенную на том же этаже, чтобы пожарить рыбу на примусе. Он вернулся с ней как раз в тот момент, когда приехала скорая помощь. Он отставил в сторону жареную рыбу и, как ни в чем небывало, лег на носилки. И в течение следующих нескольких дней мы его не видели.

Рядом слевой Дименштейном вровень стояла кровать Чеслава Коваля. Крестьянский сын из Люблинской земли, коренастый, упрямый, амбициозный, *волевой*, как говорят русские. Ему доставляли беспокойство некоторые особенности речи – заикание. Он справился с этим по совету врача – не как Демосфен с камушками, но постоянно, систематически тренируя свои челюсти, даже при нас. Через какое-то время он уже мог выступать с партийной трибуны, чтобы медленно, но последовательно подняться по карьерной лестнице. Ее вершиной была чуть ли не работа в польском посольстве в Пекине. Добавлю, чтобы уже не возвращаться к

этой фигуре, что, когда он умер несколько лет назад, семья забыла обо всех этих заслугах. Оказалось, что он принадлежал к Армии Крайовой, о чем в наше время он не проронил и слова, и не было бы ничего в этом плохого, если бы он сам не отыскивал, кто и как запятнал свою биографию. Разнообразным образом.

Он удивил меня вскоре после прибытия, мягко говоря, крайне неприятным образом. Будучи парторгом партийной ячейки польской группы в Институте имени Герцена, он неожиданно созвал открытое партийное собрание. Пришли все, включая беспартийных, как я.

Первым пунктом: дело товарища Сливовского. Какое такое дело? Я не чувствовал за собой никакой вины. Товарищ Коваль вскоре объяснил, в чем заключался мой проступок. В этот момент я слишком поздно понял, что нельзя давать волю своим собственным размышлениям, что нельзя делиться с первым встречным своими мыслями. Предыдущей ночью перед сном после выключения света мы разговорились – двое советских товарищей спали – мы говорили по-польски, я не помню, о чем, но в какой-то момент разговор свернул на патриотические чувства, и я имел неосторожность (еще не научился держать язык за зубами), сказать, что я думал: что родина человека там, где он чувствует себя хорошо, где он живет по своей воле. Что-то в этом духе. И это позволило поставить вопрос о «деле товарища Сливовского» и обвинить его в космополитизме, с которым боролись КПСС и

ПОРП. В чем был смысл – наши товарищи еще и понятия не имели, они еще не ориентировались, что это было начало масштабной антисемитской кампании. Они действовали в рамках собственных интересов. Им важно было проявить бдительность и осудить меня. Сама постановка вопроса – я понятия не имел, что происходит – лишила меня дара речи. Меня возмутил факт, что был раскрыт частный разговор, в ходе которого не было выдвинуто никаких обвинений, и что меня не предупредили о том, что мое «дело» будет обсуждаться на собрании. Не все выступали с одинаковой энергией. Зембаты оказался самым сдержанным в этом отношении. Все закончилось, слава Богу, ничем. Каким-то неопределенным предупреждением. Урок пришелся как раз вовремя.

* * *

Я была на этом собрании, хотя я тоже не была в партии. Ренэ сидел совершенно ошеломленный, расстроенный, заикаясь, постоянно выражал свое негодование; не слушал то, что ему говорили, не отвечал на задаваемые вопросы, он мог только повторять снова и снова, что таким образом не поступают. Я знала, что конца не будет этим разговорам и взаимному недопониманию, потому что обвинявшие – уже привыкшие писать доносы – не могли понять, о чем говорит обвиняемый, и он – как они могли таким образом поступить. Поэтому я сказала, чтобы он прекратил повторять одно и то

же и начал отвечать на задаваемые вопросы (он – космополит или нет, и еще какие-то в том же духе). Я не должна была вмешиваться. Ренэ никогда мне этого не простил – он считал, что я выступила на стороне сталинистов, и припоминал мне об этом при каждом удобном случае. Имел полное право так поступать.

Между тем прошло не так много времени, когда аналогичным образом я узнала, что на открытом партийном заседании будет рассмотрено «дело товарища Заленской». Как я уже говорила, я не усвоила урок на подготовительном курсе и продолжала шутить. Как дома, так и в институте. Однажды вечером в нашу комнату пришел товарищ Пача. Он присел за стол выпить чаю с пряниками. Мы были все четверо в сборе, велась какая-то беседа ни о чем, и я, как обычно, начала рассказывать анекдоты. Конечно, в основном политические. Один был не очень умным, но я слышала его в Варшаве в связи с массовым притоком карьеристов в партию. «Какая разница между кладбищем и партией? Ответ: Никакой, потому что все там будут». Гость слушал, смеялся, а после возвращения в свою комнату его посетило озарение: «Таким образом полька деморализовала эстонок, гражданок страны, недавно присоединившейся к СССР». На собрании меня осудили, и даже решили, что меня нужно перевести в комнату к русским, которые окажут на меня хорошее влияние. Ренэ пытался сказать, что приводить беседу, во время которой неуместный анекдот был спокойно выслушан и

не осужден, само по себе неприлично, но его не слушали. В итоге мне удалось как-то защитить себя, сославшись на партийную Рут и ее положительное влияние на меня!

После собрания Ренэ подошел ко мне, подавленной и обеспокоенной перспективой переезда, погладил и сказал мне не беспокоиться. Я была искренне тронута.

* * *

После этого и на последующих собраниях нашей польской группы постоянно подчеркивалось, что «Пача растет» – он брал слово, когда было нужно, был активен и прочее. До определенного времени. Так из взносов был куплен аккордеон для музыкального сопровождения торжественных мероприятий. Ему было поручено его хранить. Пача сунул инструмент глубоко под кровать и... забыл, где спрятал его. Когда было нужно что-то сыграть, он поднял крик, что аккордеон украли. Начались поиски, выдвигались подозрения, разыскивали вора. Через какое-то время Пача вспомнил, куда он его спрятал. Теперь бедного Пачу обвиняли в клевете на советскую молодежь. Было решено отправить его обратно в Польшу! В этот момент его карьерный рост прекратился, его дружки отвернулись от своего протеже и стали обходить его стороной. Лишь Роман Мураный проводил его на вокзал...

В Польше Паче было разрешено завершить учебу (он пи-

сал о Виссарионе Белинском и, как рассказал нам, разделил привезенные работы Белинского на куски, добавил связующие предложения и получил готовую работу!). Он медленно сделал скромную, но достойную партийную карьеру. Сегодня он с радостью представляет себя как жертву сталинизма.

После этой истории мы продолжали ходить на лекции, семинары и практические занятия. Хотя это был филологический факультет, половину времени занимали различные идеологические предметы: два материализма – диалектический и исторический – марксистская философия, политэкономия и, наконец, история партии. Я не мог различить их из-за языковой глухоты и слепоты, я не был в состоянии что-то записать, не говоря уже о том, чтобы запомнить. Все сливалось в единую массу похожих слов, в любом случае так было на первом курсе. А сдавать экзамены и получать зачет по семинарам мне было нужно. Сегодня я не могу понять, как мне удалось со всем этим справиться. Я зубрил по ночам со словарем в руках – я купил небольшую электрическую лампу, красный металлический гриб, в торговой галерее на Невском, ставил ее на стул у кровати и, чтобы не мешать товарищам, накрывал ее газетой и в тишине ночи с жадностью читал.

Античная литература доставляла мне особое удовольствие; я получил от профессора Овчинниковой записку в библиотеку, чтобы мне выдавали тексты на французском языке – красиво переплетенные тома, оставшиеся еще со

времен Екатерины Великой и ее преемников – опекунов заведения. После зимней сессии – к своему изумлению – благодаря прочитанному, не только по-французски, уже на первой лекции я понял, что понимаю, что нам говорят, и даже могу записать. Полная эйфория.

Таким образом, во втором семестре я уже все понимал, в том числе зачастую непреднамеренный комизм некоторых формулировок, примитивность терминов и определений. План следующих семинаров по марксизму нам раздавали на неделю вперед. Навсегда запомнилась тема одного из занятий: «Вейсманисты-морганисты злейшие враги человечества». Это означало, что на протяжении полутора часов мы будем бороться с враждебной генетикой, особенно с американской генетикой, согласно пунктам, перечисленным в плане занятия. Где-то у меня он затерялся. Жаль.

Велась, впрочем, неустанная борьба. С буржуазным объективизмом, с либералами, с социал-фашистами, с фальсификаторами истории. На всех фронтах. Некоторые утверждения мы были не в состоянии понять – об усилении классовой борьбы в условиях победы социализма и об исчезновении государства. Но мы уже научились ни о чем не спрашивать, не выказывать каких-либо сомнений.

* * *

Моя учеба проходила подобным образом. На лекциях я

тоже ничего не понимала. Анализ «Русской правды» доставлял много хлопот. Сделанные выводы не всегда были убедительными. Интенсивная борьба против нормандской теории поражала. В школе мы привыкли к дискуссиям и спорам, здесь же существовала одна неоспоримая правда. Идеологические семинары, которых на историческом факультете было еще больше, чем на филологическом, вызвали у меня меньше трудностей, потому что я была начитана, и на гораздо более высоком уровне, чем требовалось здесь. Уже в школе, во внеурочное время, я читала Плеханова и Каутского, Маркса и Энгельса... Мне только не удавалось все хорошо выразить. Постепенно я также стала замечать непреднамеренный юмористический характер различных определений и низкий уровень преподавания. Смешила мания цитирования; ни одна точка зрения, ни одно заявление не могло быть сделано без цитирования соответствующего фрагмента из классиков марксизма, предпочтительно Сталина. Надо сказать, что со временем мы усвоили различные привычки такого рода, и после возвращения в Польшу мне было трудно начать мыслить самостоятельно, без подкрепления мыслей цитатами, например, когда я писала свои первые рецензии. Однако медленно прежняя хорошая школа позволила это преодолеть.

Историю Дальнего Востока я сдавала «по частям», то есть несколько раз. Я училась по огромному учебнику, и мне казалось, что я никогда не засуну в свою голову этот совершен-

но неизвестный мне материал. Я зубрила, сдавала, а потом сразу забывала.

Позже, когда пришло время всемирной истории, меня удивляло, как мало места отведено в ней истории Польши и даже столь модному славянству. Как-то я наткнулась на учебник по истории России для средней школы под названием «История СССР» Анны Панкратовой, который студентки нашего факультета использовали вместе с учебником Милицы Нечкиной для сдачи экзаменов. Я открыла на странице о бойне в варшавском районе Прага и с удивлением прочитала, что Суворов «[...] гуманно обошелся с населением Праги». Такая очевидная ложь поражала и возмущала. Не было только с кем об этом поговорить.

* * *

В действительности условия труда при довольно простом уровне существования (мы объясняли все недостатки недавней войной) были очень хорошими. Только учись. В конечном счете, идеологические предметы не вытеснили совершенно другие, специализированные, а то, насколько они были усечены, мы в полной мере не понимали. Учебники были разделены по группам из нескольких человек; мне и Кмиту дали их для исключительного пользования. В институтскую библиотеку мы ходили за монографиями и научными журналами. Чтение некоторых учебников, например, «Истории

древнерусской литературы» Николая Гудзия, «Фольклора. Древнерусской литературы. Литературы XVIII в.» Авраамия Кайева вызывали определенные мучения: каждый следующий читатель подчеркивал то, что ему казалось особенно важным, сначала серым карандашом, затем цветным: желтым, красным, синим, зелёным, и в результате целые абзацы, а иногда и страницы были расцвечены всеми цветами радуги. Это отвлекало внимание и требовало – особенно от нас, тех кто не владел языком в полном объеме, дополнительного внимания.

Я с истинным удовлетворением подготовился к экзамену по истории античной литературы, благодаря учебнику И. Тронского. Это действительно было «легкое, простое и приятное» чтение, говоря словами незабываемого Люциана Кыдрыньского⁶². Кроме того, как я уже писал, сами тексты я мог читать по-французски.

* * *

Однако было бы нечестно, если бы я не сказала, что эта первая встреча с «нашей Россией», точнее – с Советской Россией, была для меня шоком: цивилизационным и ментальным. Некоторые странные явления, как нехватка продуктов на рынке, можно было объяснить – все обычно сва-

⁶² Люциан Кыдрыньский, польский журналист, вел в т. ч. телепередачу в начале 1960-х годов «Музыка легкая, простая и приятная». *Прим. пер.*

ливали на войну и «капиталистическое окружение». Меня даже обрадовала возможность увидеть в магазинах знаменитые сахарные головы, о которых я знала по книгам, их разбивали специальными топориками на кусочки, которые затем взвешивались и запаковывались в кульки из плотной оберточной бумаги. Однако общественных туалетов, где в один ряд стояли унитазы без досок и без перегородок, а на них как куры на насесте сидели подруги по общежитию, а иногда и преподавательницы, ничем невозможно было объяснить. После одного сеанса – беседы с профессором, которая занималась какой-то частью марксизма, я больше не могла всерьез слушать разговоры о превосходстве социализма над капитализмом.

Практически сразу бросилась в глаза проявлявшаяся на каждом шагу показуха: перед каждым государственным праздником обновлялись витрины магазинов, оконные рамы и входные двери; это выглядело так: наносился еще один слой краски, который затем отшелушивался и отваливался. В Польше этот обычай внедрился чуть позже. Самым смешным была покраска любого рода столбов, например, уличных фонарей и автобусных остановок. Подъезжала машина с выдвинутой лестницей, и человек поднимался на ней, держа кисть и окрашивая одну сторону, а когда опускался – другую. Не стоит даже говорить о том, что все вокруг при таком «обновлении» было в брызгах от краски – это воспринималось как само собой разумеющееся, и никто не удивлялся.

Нас также позабавили имена русских студенток. На моем курсе было две Нинель (анаграмма от имени Ленин), одна Сталина и одна Октябрина. Затем мы встретили Рэма, имя которого не было уменьшительным от Ремигия, а состояло из первых букв слов: революция, электрификация, машиностроение (родители были инженерами на великих коммунистических стройках).

Поверхностная чистота поддерживалась и в общежитии – время от времени в комнатах появлялась комиссия по уборке, которая публиковала газету «За культуру быта», где хвалила или делала выговоры проживающим в общежитии. Ее члены интересовались только пылью и со страстью проверяли стулья и шкафы снизу. Кроме того, кровати должны были быть покрыты белой простыней, на которой мы спали, с подушкой сверху. Никаких покрывал не выдавали. Мы – эстонки и я – взбунтовались и накрыли кровати дополнительным одеялом, что вызывало неудовольствие комиссии; снижало нашу оценку, что означало, что мы не получим вознаграждение, например, дополнительную лампу. Несмотря на это, мы не сдавались и не принимали близко к сердцу заниженные оценки.

Я гораздо сильнее переживала из-за всей той глупости, что слышала на семинарах, отучивания от самостоятельного мышления и, наконец, из-за невыносимого культа Сталина. Воспитанные в атмосфере вольнодумства, протеста против любых проявлений восхваления кого-либо – человека

или Бога – мы не могли понять существовавшего чуть ли ни религиозного отношения к Иосифу Виссарионовичу. Все надписи на плакатах той эпохи нас поражали и веселили, их было множество: «Сталин – это Ленин сегодня!», «Работать так, чтобы Товарищ Сталин спасибо сказал!». Сами выборы в отдельные советы нас немного удивляли, потому что заявлялось, что товарищ Сталин по своей бесконечной доброте позволил, чтобы в этом регионе за него проголосовали. Председатель избирательной комиссии часами повторял: «За Сталина! Для Сталина! Для Сталина!». Стоит отметить, что недавно один автор, анализируя все эпитеты, какие давались генералиссимусу, заметил, что только один никогда так и не появился, а именно прилагательное «добрый». Никому из прославлявших Сталина не пришло это в голову...

70-летие Сталина. Поездка домой на зимние каникулы

Однако апогей наступил в связи с торжественным празднованием 70-летия Сталина в декабре 1949 года. Об этом трубили по радио через все уличные громкоговорители, через все т. н. «колхозники» или радиоточки в комнатах, кричали об этом передовицы всех газет. В нашем институте также готовились к торжественному празднованию, и мне было поручено написать текст выступления от имени польских студентов. Я написала, как умела, наверное, с ошибками, спокойное приветствие великому Сталину. Через несколько дней организаторша вернула мне совершенно другой текст, переполненный помпезными клише «от имени Польской объединенной рабочей партии и всего польского рабочего класса», а не польских студентов в Ленинграде. Я не помню, нужно ли мне было это зачитывать или этот текст просто пошел в стенгазету. Тем не менее, я была возмущена. В нашей школе, в молодежных организациях, в которых я до этого времени состояла, никто никогда нас не цензурировал, ничего не дописывал. А ведь мы также организовывали время от времени торжественные собрания, вечера, где мы пели песни из популярных тогда «балаганчиков», высмеивавших в мягкой форме нас и наших учителей, вешали свои стенгазеты и даже писали в прессу. Я видела в этом покуше-

ние на свою независимость, к которой здесь не относились с уважением. Забегая немного вперед, хочу упомянуть Музей подарков Сталину, который мы посетили с Ренэ, когда ехали на летние каникулы домой через Москву. В огромном здании в витринах были разложены тысячи китчевых подарков: огромные, расписанные вручную вазы и миниатюрные украшения, которые нужно было рассматривать через лупу как подкованную блоху из рассказа Николая Лескова, вышитые вручную портреты вождя, один из которых был выполнен даже женщиной-инвалидом, которая сделала это ногами; был также ковер, который ткался годами узбечкой из ее собственных волос; множество макетов, моделей производимых паровозов и вагонов и тому подобное. Все это сделанное безвкусно и бездумно на нас действовало отталкивающе, но в то же время и забавляло. Этот музей и поведение посетителей, особенно школьные экскурсии, блестяще описала в одном из своих рассказов под названием «Дар нерукотворный» современная писательница Людмила Улицкая. В одной из витрин мы заметили подарок от коммунистической партии Франции – энциклопедию Дидро и Д’Аламбера. Мы пришли к выводу, что это был единственный заслуживающий восхищения объект, и рассказали об этом моему отцу-библиофилу, который в ответ рассмеялся и сказал: «Ну, французы особых усилий не приложили, энциклопедисты опубликовали свои работы огромным для своего времени тиражом, так что это никакой ни раритет, можно купить в любом крупном анти-

кварном магазине». Через несколько лет при Хрущеве музей был закрыт, а энциклопедия, вероятно, пополнила коллекцию одной из провинциальных библиотек, ее экземпляр заказывала еще Екатерина II, именуемая Великой, заигрывая с наивными французами своего времени.

Сталин был повсюду. Все спят, а «Сталину не спится – Сталин думает о нас». Были такие репродукции картины: неутомимый товарищ Сталин стоит у окна в Кремле и размышляет. Он появлялся на уличных портретах, на транспарантах, в учебниках.

При нас вышла его статья «Марксизм и вопросы языкознания» и началось настоящее безумие использования гениальных высказываний во всех областях науки. Отдельные предложения нас особенно забавляли. Мы шутили: «Можно ли слово „конь” или „земля” заменить другим?» Сторонникам Марра, которого разоблачил великий лингвист и которые были также и в нашем институте, было не до смеха. Мы восставали в глубине души против этого идолопоклонства, споря только с Романом – членом партии; он никогда не подвел нас и молчал как рыба. Он пытался убедить нас в рациональности этого безумного культа, который, по его мнению, был обусловлен вековой традицией поклоняться своим правителям. Точно так же мы могли искренне разговаривать только с нашим другом Якубом Гутенбаумом, который после года учебы в Ленинграде переехал в Москву, где у него была тетя. Именно он во время одной из встреч рассказал нам о

том, что видел в Москве во время похорон Сталина.

* * *

Зимняя сессия была уже на носу. Наша первая экзаменационная сессия. Она должна была начаться сразу после коротких новогодних выходных. О Рождестве можно было лишь вспоминать с тоской и печалью в глазах – и то коротко. Время поджимало. Новогоднюю ночь организовали в своей большой комнате девушки с того же этажа, что и мы, почти напротив нашей комнаты. Столы ломились, особенно от салатов (один со свеклой, картофелем и луком, иногда с сельдью, залитый нерафинированным, со специфическим и хорошим вкусом, подсолнечным маслом, можно было получить в каждом буфете под названием *vinegret* – я его время от времени делаю и по сей день). После многочисленных сладостей я попрощался и вышел тихо *à l'anglaise*, чтобы в постели в одиночестве насладиться произведениями великих римлян и греков на моем родном языке. Как я узнал на следующий день, после торжественного ужина погасили свет, и началось настоящее празднование.

* * *

Я сидела грустная на этом вечере, я еще ни с кем не завя-

зала близких отношений, сучала по домашней атмосфере, своим друзьям, и тоже сразу после десертов и чая выскользнула в свою комнату наверху. Я уже тогда начала мечтать о том, чтобы поехать на зимние каникулы, после экзаменов, в Польшу.

Наконец, несмотря на первоначальные возражения (нужно было получить разрешение посольства) я, навьюченная забавными подарками, уехала в Варшаву. Я описала свой приезд в письме к Роману и Ренэ:

«Дорогие мои!

На самом деле особенно не о чем писать, но я хочу, чтобы письмо пришло хотя бы за несколько дней до моего приезда, поэтому поделюсь с вами тем, как я добиралась и расскажу о том, что застала на месте.

Я ехала из Москвы в экзотической компании одной индианки, юноши из Эквадора, англичанина и различных представителей народных демократий, так что было интересно и весело. Впрочем, такие сообщения производят только на нас огромное впечатление – так что я лучше перейду к описанию встречи с семьей. Итак, приезжаю я на вокзал вечером – вокруг пусто, такси нет, меня никто не встречает, потому что я отправила телеграмму с более поздней датой прибытия. Хуже всего то, что от переполняющих меня чувств я думаю все время по-русски и постоянно делаю ошибки [...]. В результате меня подвозят два солдата на своей машине, радуясь, что встретили «землячку»; но это еще не все: я врываюсь с ними

в квартиру и обнаруживаю, что дома полным-полно гостей; а родственники глядят на меня безумными, испуганными глазами.

Оказывается, после прочтения моих отчаянных писем, что мне не дают возможности приехать на каникулы, и что я уже по горло всем сыта, в Варшаве решили, что я готовлюсь к какой-то сумасшедшей вылазке, и при виде меня с сопровождением (!) были убеждены, что я вернулась навсегда и, возможно, даже не по доброй воли. Я думала, что умру со смеху!

Та же история была с моим профессором, который долго не мог поверить, что я приехала только на зимние каникулы и что вернусь в Ленинград...».

Тем временем Роман, пока меня не было, решил организовать поездку. Он взял с собой всю группу, и они поехали, как он писал мне в письме от 30 января 1950 года, «чтобы немного развеяться» сначала на Финский залив в домик Ленина – «всего двадцать километров пути на лыжах», а потом в курортное местечко за городом, «где можно довольно неплохо покататься». Поездка, как обычно с Романом, имела также воспитательную цель. «Ты не представляешь, как такой поход, – уверял он меня, – положительно влияет на человеческую натуру. Это особенно заметно в случае Витэка, он теперь совсем не тот, что был раньше». Ренэ перед походом намазал лицо, согласно рекомендации, вазелином. Правда, ему продали вазелин с камфарой; после возвращения в общежитие начались неприятности: жжение, красные

пятна и прочее. Все это длилось довольно долго, и мы наконец-то вызывали врача. Он пришел и сразу же набросился на волосы и макушку головы. Когда Ренэ возразил, что у него болезненные пятна на лице, а не на голове, то услышал в ответ: «Ко всему нужно подходить диалектически, понимаете, диалектически! Все связано между собой в соответствии с диалектикой!». Это был наш первый контакт с советской медициной и, хотя он был не очень эффективным, привел нас в хорошее настроение. В будущем мы убедились в том, что не все врачи так страстно увлечены диалектикой, и многие из них нам очень помогли.

Второй семестр первого курса

Две недели пролетели незаметно, и вскоре я снова оказалась в общежитии на улице Желябова. Второй семестр оказался гораздо проще. Особенно потому, что для нас были организованы систематические занятия по русскому языку. Нашим первым учителем был старичок, явно дореволюционных времен. Он носил старомодный костюм, да и по-русски говорил на старомодный манер. Он заверил нас, что к концу первого семестра мы уже сможем читать заголовки газет, а затем пойдем дальше. Наш товарищ Антоний был в восторге от этого. К счастью, мы вскоре получили нового наставника. Это был Юрий Павлович Суздальский, специалист по литературе античного времени, человек, полный очарования и прекрасный учитель, обладавший обширными знаниями. Он охотно беседовал с нами на разные темы, а спустя много лет даже побывал у нас с Ренэ в Варшаве.



Испанки – студентки Пединститута им. А. И. Герцена, в центре Ренэ

Мы учились вместе с несколькими испанками – детьми, привезенными во время гражданской войны и оставшимися в СССР после ее окончания; они плохо знали русский, росли в своем кругу, опустошенном чистками, и тосковали по почти им уже неизвестной родине. Меня звали Бикой, а преподавателя – к нашему удовольствию – Дзюра Павлович⁶³. Мы с радостью гуляли с ними подолгу после занятий. Им предстояло распределение после учебы, и их отчаяние не име-

⁶³ «Дзюра» по-польски значит дыра. *Прим. пер.*

ло границ, когда вместо того, чтобы отправить их на юг, их как будто нарочно отправляли на крайний север. Оттепель во времена Хрущева позволила им вернуться в Испанию. Какое-то время мы переписывались, а муж Фелиппы Гонсалес, которая, как писала нам ее подруга Эппария, в 1954 году была первой, кто покинул СССР, приезжал к нам с Ренэ в Варшаве. Позднее наши контакты прервались.

* * *

Можно писать и писать о лекциях, семинарах и практических занятиях. Ведь не все занятия были пропитаны идеологией. Перед экзаменами обычно возникали вопросы о том, как подготовиться – на основании записей или нужно обратиться к «источникам»? Спрашиваемый серьезно отвечал: «Конечно, на основании источников!». А этими «источниками» были «История ВКП(б). Краткий курс», иногда работы Ленина и Сталина. К Марксу и Энгельсу, не говоря уже о других марксистских авторах, обращались редко.

Среди предметов, которые мы также изучали по программе – в конце концов, наше учебное заведение называлось Педагогическим институтом – были психология, педагогика, методология и школьная гигиена. К последнему предмету, в отличие от нас, относились очень серьезно: нужно было уметь подсчитать, сколько времени потребуется, чтобы проветрить школьную комнату определенной величины,

как управлять проекторами и тому подобное. По сей день у меня в ушах звучат заученные фразы, например, как вставлять пленку («*Матовой стороной к источнику света*»). И поскольку в то время мы переживали период превосходства русских во всем (все важное было изобретено русскими; это было источником множества анекдотов), во введении нашего учебника по школьной гигиене мы читали о ее высоком уровне и заботе о здоровье еще во времена Древней Руси, чему примером должны были служить герои былин – богатырь Илья Муромец и Соловей-Разбойник. К сожалению, учебники студентам выдавались из библиотеки на целый год, мы их не покупали, и поэтому я сейчас не могу процитировать это высказывание...

На семинарах не дискутировали, никто и ничего не подвергал сомнению. Как правило, представляли заученные тексты или слушали преподавателя. На одном семинаре говорилось о героизме «советских людей» во время Второй мировой войны, именуемой также, как и Русская кампания Наполеона, – Отечественной войной. Героизм был главной – помимо гениальности когда-то Кутузова, а теперь и Иосифа Виссарионовича – причиной победы. Я спросил, вспомнив французские и польские рассказы об ужасном отступлении Великой Армии, о том, не сыграл ли в данном случае определенную роль климат – ужасные морозы и снег... И в тот же миг на меня набросился молодой сторонник марксизма, чуть ли не покрыв меня ругательствами! Я содрогнулся, испытыв

настоящий страх. Он не зачтет мне семинар, донесет на меня... Меня отчислят за неблагонадежность. Действительно, душа ушла в пятки. И я получил очередной урок: молчать, не высовываться, избегать лишних вопросов.

* * *

На истории особую трудность для меня представляло выучить предысторию правящей партии. Источником знаний была «История ВКП(б). Краткий курс», и было невозможно понять, чем отличались между собой последующие оппозиции. Студентки зубрили, а затем повторяли слово в слово. Но это не удовлетворило нашего идеолога. – Маленький, кругленький, с тупым, ничего не говорящим взглядом, он однажды, выслушав подобный суконный ответ, уже не помню, касавшийся правого или левого отклонения, как закричит, и я слышу его голос по-русски по сей день: *«А вы скажите прямо бандиты, злодеи, шпионы продали свою родину за тридцать серебряников?!»*. Впрочем, он слово в слово повторил один из пунктов так называемого плана семинаров, разработанного Министерством образования для всех высших заведений.



Лекции по филологии проходили в огромной аудитории. Там помещалось более ста, а может и двухсот человек. Мужчины были как на вес золота. Сказались и война, и феминизированное направление – готовили учителей, а точнее учительниц. Об окончании занятий – как в школе – сообщал звонок. Если преподаватель увлекался и не слышал его, раздавался пронзительно-писклявый хор девушек: «Звоноооок!»

Аудитория жила двойной жизнью – лекция была сама по себе, а одновременно шла постоянная переписка, становящаяся тем интенсивней, чем более нудной была речь преподавателя. На клочках бумаги можно было прочесть на русском языке такие вопросы, как: «Что ты делаешь сегодня вечером?», «Как там с Васей?», «Что думаешь...?». Однажды мне захотелось сквозь землю провалиться, когда я услышал голос, преподавателя, зачитывавшего перехваченную записку на русском: «Ренэ, где Бальзак сказал...?». «Кто из вас Ренэ?» – был задан вопрос. Он так и не узнал ни об одном, ни о другом.

Преподаватели были, конечно, разные и вели себя по-разному. Либо они стояли на кафедре, расположенной на огромной сцене, где мог бы выступить целый ансамбль песни и пляски, бормоча что-то свое, либо разгуливали по этому подиуму с сигаретой в руке и рассказывали об истории со-

ветской литературы, целый год рассказывая о гении Михаила Шолохова, как, например, это делал Александр Хватов, или хвастались своими заслугами, как один редактор «Звезды», чрезвычайно довольный собой Валерий Друзин, который взял на себя руководство этим журналом после знаменитого доклада Андрея Жданова о Зощенко и Ахматовой. Мы не думали, что они живут по соседству, что мы чуть ли не ежедневно проходим мимо дома автора «Голубой книги»... Доклад Жданова был, кстати, в списке обязательной литературы. Читая, мы не могли понять, что такого страшного в сатире об обезьяне, едущей на трамвае; нам казалось, что в нем прекрасно были ухвачены черты, характерные для едущих в толкучке. Обвинения в адрес Анны Ахматовой тоже нам казались несерьезными. Однако по опыту мы уже знали, что лучше молчать. Исключительный талант Михаила Зощенко мы оценили гораздо позже.

Нашим любимцем был Борис Гейман, большой любитель и знаток немецкой литературы. Он преподавал всеобщую литературу, сидя во время лекций практически неподвижно; его истинная любовь к западной литературе передавалась. Он был особенно увлечен «Фаустом» Гете, писал и публиковал какие-то работы на эту тему. Его слушали с благоговением. У бедняги были большие проблемы с этим «Фаустом». Дело в том, что на полях поэмы-сказки Горького «Девушка и Смерть» Сталин написал: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». Нужно было видеть

и слышать, как извивался несчастный лектор, пытаюсь прокомментировать это примитивное и пустое замечание о наивной сказке о девушке, которая силой любви возрождает своего возлюбленного. Что гениальный вождь не хотел умалять работу великого поэта, что он имел в виду только одну сюжетную линию и так далее. Только сегодня я полностью осознаю, насколько ему было трудно давать эти жалкие объяснения... Он жил на той же улице, что и мы. Мы встречались, низко раскланиваясь с ним. Хороший, скромный, очень приятный старик. Для нас тогда – старик. Он был намного моложе меня сегодня. Старик...

* * *

Гейман также читал лекции по всеобщей литературе на истфаке. В несколько укороченной версии, но не менее интересно. Однако его не слушали внимательно, потому что не надо было сдавать экзамен. У меня это вызывало ужасное чувство злости, что я и не скрывала. Но никто не обижался на поведение сумасшедшей польки. Большинство студентов – будущих учительниц – происходило из глубокой провинции, они хотели только получить диплом или, возможно, выйти замуж за любого проходящего на все мероприятия в институте или встреченного в городе моряка, а лучше офицера – все-таки Ленинград был портовым городом. Уровень преподавания им был безразличен, ведь они уже прошли че-

рез подобную среднюю школу.

Да и годы не способствовали учебе. Конец сталинизма, очередные чистки, на этот раз под предлогом борьбы с космополитизмом и «преклонением перед Западом». Даже самые выдающиеся профессора были исключены из нашего института, например, говорилось об исчезновении профессора Лурье (вероятно, из французов, которые осели в разные годы в России). Все доходило до нас как по капле и вырабатывало яд в наших умах. Я не помню, как мы узнали, что «на вечерке» современную историю России читает Виктор Бернадский. Мы бегали послушать этого прекрасного преподавателя, потом мы поняли, что это был один из видов ссылки, более мягкое наказание, чем увольнение и реальная ссылка. Он есть, тем не менее, на общей фотографии нашего курса.

Очевидно, он заметил наше присутствие на своих лекциях, потому что мы подходили во время перерыва, задавали вопросы; вероятно, даже рассказал об этом своему сыну, который в то время еще учился в средней школе.

Сергей Бернадский, сын Виктора

Как этот инициативный юноша узнал о моем существовании? Я не знаю. На одной из первомайских демонстраций он просто прорвался сквозь ряды, громко крича: «Где тут Ренэ Сливовский?!». Оказалось, что он искал меня, потому что узнал, что я знаю языки, и хотел говорить по-французски и по-английски, а не было с кем. У Сергея была неплохая учительница английского, но ему этого было недостаточно; он жаждал бесед, любых, лишь бы как можно чаще. Я охотно пустился в эту игру и начал с ним нести чушь на языке Альбиона, который мы оба как-то знали. И так мы шли до окончания демонстрации и разошлись каждый в свою сторону; он неоднократно заверял меня в том, что хотел бы и дальше со мной видеться. Я думал, что этот юношеский запал у него пройдет, но нет – он появлялся довольно часто из ниоткуда, без предупреждения, потому что у нас не было доступа к телефону. Не могу понять, как ему удавалось проникнуть в мою комнату в общежитии, ведь вход ревниво охранялся чрезвычайно бдительными цербершами, не спускавшими глаз с входящих. Иногда он приходил невовремя, но я прощал его – его общество не было мне неприятно, кроме того, я видел, что я ему как-то нужен. Потом он сдал школьные экзамены, мы уехали из Ленинграда и забыли о нем, погружившись в свои дела.

Спустя всего несколько лет, где-то в 1956 или 1957 году, мы узнали от одного из русских, руководителями которого мы были, о громкой дискуссии, проходившей в Ленинградском университете по поводу недавно опубликованного романа «Не хлебом единым...» известного до этого рассказами производственной тематики Владимира Дудинцева. Этот роман, опубликованный в 1956 году и по форме повторявший многие другие произведения о производстве, по своему содержанию не соответствовал официальной линии партии; уже одно его название провоцировало к дискуссии. К удивлению автора, он даже вызвал жесткие споры. Во время обсуждения романа Сергей Бернадский, тогда студент, взял слово. Скорее всего, он говорил то, что думал, не очень дипломатично, вероятно, петушился (а был немного шальным, что уж скрывать). Власть долго ждет, да больно бьет. Она запомнила его несвоевременные высказывания, и начала расставлять на него силки. И началась черная полоса в его жизни. Он рассчитывал на аспирантуру – у него были для этого все необходимые данные; пытливый ум, интерес ко всему, что касалось гуманитарного знания в широком смысле этого слова, начитанность, знание языков. Да, все это правда, но... «не наш человек».

Вскоре он написал нам. Выучив польский, писал свободно, хотя несколько неуклюже, читал без проблем. В начале 1960-х он сообщал нам: «Я собираюсь поступить в аспирантуру, но в Ленинграде это невозможно, потому что власти

решительно против этого. До сих пор не могут мне простить 1956 год.

Моя реабилитация означает лишь, что у меня есть возможность жить в Ленинграде [а могли бы выслать и дальше – *Р. С.*]. Это уже от властей не зависит. По тем же причинам мне наверняка запретят поехать за границу, я полагаю, даже в Польшу [правильно полагал]. Может быть, только приглашение из Польши сработает [не сработало]. На протяжении трех лет я часто менял работу. Я подсчитал, что как минимум в половине случаев мои неудачно закончившиеся работы были следствием действия властей (отказ принять на работу, увольнение из-за сокращения рабочих мест). Тем не менее, я не теряю надежды на то, что мне еще выпадет шанс».

Он зарабатывал от случая к случаю, то преподавал в школе, то в качестве экскурсовода водил туристов по городу, хватался за все, что возможно. Эта нестабильная ситуация не мешала ему рыться в книжных магазинах, читальных залах и библиотеках, находить интересные статьи в польских журналах: «Из области социологии я хотел бы иметь Ст. Оссовского „Об особенностях социальных наук” (1962, из-во ПВН), Зигмунта Баумана „Социологический очерк” (1962, из-во ПВН), из серии „Сигналы” (из-во „Ксенжка и Ведза), сборник статей из „Аргументов” 1957–1959, „Философию и социологию XX века”, Марека Хласко (все, что можно найти), был у нас в продаже. Но меня не было в городе. Из пе-

реводных – Камю „Бунтующий человек”; Станислава Виткевича „Ненасытимость” 1957; „Драмы и статьи” у меня уже есть. Для начала довольно».

Его постоянно беспокоят какие-то проблемы, письма кишмя кишат вопросами: «PS: Не понятно почему, все, кто писал о Виткевиче, называют его „неудачным авангардистом”. Что Ты об этом думаешь?» Ему кажется, что его знание польского языка позволит ему перевести произведения современной литературы. Он переводит «Защиту Гренады» Казимежа Брандыса. «Я должен закончить к Новому году, – весело сообщает он нам, – и она, вероятно, поедет в Москву в „Новый мир”». А пока он хотел бы перевести «Сны под снегом» Виктора Ворошильского. «В этом случае, – уверяет он в очередном письме, – шансов на успех [речь идет о публикации – P. C.] больше – ведь речь идет о Салтыкове-Щедрине. Но что Ты думаешь об этой повести?». Мнение мое было самым лучшим, но что с того?⁶⁴

Какая юношеская наивность! Ему кажется, что под плотным пальто язвительного сатирика цензоры не заметят его подозрительной одежды... Он также не знает, что само имя Ворошильского после публикации его венгерского дневника вошло в черный список на многие годы вперед.

Ему хочется угнаться за несколькими зайцами сразу. Все это из-за необъятности его интересов и отсутствия мини-

⁶⁴ В 1977 г. повесть вышла в анонимном переводе в Самиздате в Москве. *Прим. пер.*

мальной стабильности. Он также присылает свои стихи для оценки. В течение нескольких лет мы регулярно отправляли ему книги, редко по почте, чаще передавая с okazjiей. Жизнь шла вперед и не способствовала долгосрочным контактам, когда не было шансов встретиться. Я не подумал вовремя – из-за чего вменяю себе сегодня это в вину – что я не узнал, какую именно мечту ему удалось осуществить. В какой-то год письма Сергея перестали приходить, мы не знали по какой причине, занятые собой, мы не подозревали, что причиной был срок в лагере, а затем судьба диссидента. Мы вспомнили о нем, разбирая нашу переписку в связи с началом написания этих воспоминаний...

Учеба и роль Землячества

Вернемся все-таки к учебе. Исчезали не только преподаватели. Выбрасывались также их книги. В коридоре валялся уже ненужный студентам и лишь сбивавший их с толку превосходный учебник русской литературы XVIII века Григория Гуковского. Мы не подозревали тогда, что человек, арестованный как космополит, только что умер в тюрьме. Мы взяли книгу, и чтение нас захватило – как же это отличалось от того, что нам вдалбливали в головы с кафедры! Из всего преподавательского состава в моей памяти остались только имена трех историков, кроме вышеупомянутого Виктора Бернадского: профессора Владимира Васильевича Мавродина, специалиста по петровской эпохе, автора небольшой книги о Петре Великом, от которой, кажется, тоже камня на камне не оставили (открытие окна в Европу в то время не находило признания); профессора Семена Бенциановича Окуня, который читал у нас спецкурс о декабристах. Красивый, красноречивый, он очаровывал аудиторию, в большинстве своем женскую, говорил интересно, чувствовалось, что у него за плечами значительный багаж знаний. Уже в Варшаве я читала и рецензировала его монографию о Лунине. Добрых слов заслуживает еще один преподаватель – профессор Александр Михайлович Розенберг, заведующий кафедрой всеобщей истории, который руководил семинаром по

утопическому социализму, знал языки и обладал большими знаниями. Он был профессором в Институте имени Герцена в 1930–1943 и 1946–1951 годах. Что он делал в 1944 и 1945 годах, я не смогла выяснить. Я писала у него курсовую работу о Томасе Море, и он даже мне предложил пойти к нему в аспирантуру. Конечно, ни о чем подобном нельзя было и мечтать – на него косо смотрели уже только из-за одной фамилии. После 1951 года он исчез из института, вероятно, в рамках борьбы с космополитизмом; мне стыдно, но я этого не заметила; в 1951/1952 учебном году я уже редко посещала лекции – я ждала, а потом нянчила сына, а последний 1952/1953 год был полностью посвящен выпускным экзаменам. О судьбе выдающегося ученого я узнала много лет спустя.

Аналогичную тему преподавал на обоих факультетах полный шарлатан, красивый грузин – его фамилии я не помню – который всегда начинал лекцию словами: «Небезызвестный вам» (например: «Нэбэзысвэстный Вам Кампанэлла»), произнося их с грузинским акцентом, т. е. с ударением на первом слоге, что приводило нас в хорошее настроение, независимо от того, о ком из «небезызвестных» он нам рассказывал. От неучей и шарлатанов-марксистов-ленинцев-сталинистов аж роилось, но в целом они вызывали страх и скуку, а не веселье. Точнее, тихое веселье и то лишь время от времени.

Жизнь скрашивали анекдоты о прошлом и настоящем, в том числе любимые вопросы, задаваемые знатоками «Крат-

кого курса ВКП(б)», ответы на которые на всякий случай лучше было выучить наизусть. Спрашивают: «Куда бежал Керенский?», экзаменуемый пытается угадать: «В Америку».

– Нет.

– В Финляндию.

– Ничего подобного.

– Во Францию.

– Тоже нет.

– «Краткий курс» нужно тщательно изучать, – наставляет преподаватель, – в нем четко сказано: «В неизвестном направлении».

Другой каверзный вопрос был: «Куда девалась оппозиция?» Снова пытались гадать. И снова давалась рекомендация внимательно изучить «Краткий курс ВКП(б)», в котором четко объяснялось: «скатилась в болото оппортунизма».

Подобным образом следовало зазубрить выводы к каждой главе. Вообще этот учебник был основным источником наших знаний. Это была учеба, основанная на запоминании, не требовавшая понимания, а тем более вопросов и сомнений. Сразу за «Курсом» шла биография Иосифа Виссарионовича. Самым удивительным для нас было то, что обе работы, как утверждалось, были написаны самим генералиссимусом, вместе со всей похвалой в его адрес. Но об этом мы тем более не спрашивали.

Заботились не только о нашем идеологическом развитии, но и о физическом, причем в значительной степени. Допризывная подготовка меня как иностранца не коснулась, но мне нужно было получить зачет по так называемой «физкультуре». Этот термин к тому же не совсем соответствовал многочисленным упражнениям, которые нам приходилось выполнять, причем не только в спортзале. Например, при упражнении «стойка» надо было стоять на голове какое-то время. У нас была маленькая группа из трех человек. Помимо меня и упомянутого Антона Францевича Кмиты к нам присоединился венгр Иштван Фенивесси. Коренастый, краснолицый, крайне старательный, он не пропускал никаких занятий, все тщательно и разборчиво записывал, что не раз спасало меня, поскольку он с легкостью давал мне свои тетради по марксизму. Образцовый ученик... но только не по физкультуре. Несмотря на отчаянные усилия «стойка на голове» превышала его способности – он сразу валился с грохотом на твердый мат, и я никак не мог ему помочь. Схожие проблемы были и у Антония. Зато я был «герой» – настоящий, которому наш физкультурник разрешал с явным одобрением прерывать длительное упражнение.

Осенью по утрам было прохладно, дождливо, мрачно. Сонные, мы шли от общежития к близлежащему институту –

немного по улице Желябова до Невского, затем налево по Мойке вдоль реки к месту назначения. Я брел в полусознательном состоянии среди этой мрачной серости, а Иштван бодро вышагивал рядом. Я очнулся от толчка и громко заданного вопроса: «Слушай, брат, а как там у вас в Польше с классовой борьбой?» Я не помню, что я ответил этому искренне верующему во все парню из венгерской провинции. Спустя годы, когда я оказался в Будапеште, мне рассказали, что мой крайне идеологизированный друг по институту принял активное участие в Венгерском восстании и заплатил за это страшную цену. Кто бы мог тогда подумать?

Приятными и радостными были обязательные походы в бассейн. Плавание плаванием, с этим проблем не было, даже самые последние рохли сдавали требуемые метры. Хуже было с прыжками с относительно высокого трамплина. Я сам почувствовал себя некомфортно, когда дело дошло до прыжков, к счастью, вперед ногами, а не головой. Польский «гонор» не позволял мне проявить страх, я всегда прыгал первым, чтобы как можно скорее избавиться от неприятного ожидания. Затем я мог наблюдать за прыжками своих однокурсниц. Колебавшихся инструктор длинным шестом сбрасывал прямо в воду, они падали в бассейн, согнувшись крючком, разбрызгивая воду далеко за пределы бассейна. Ноги безболезненно рассекали воду. Криков не было.

Хуже всего я вспоминаю лыжи. Зимой надо было встать на рассвете, когда было еще темно, и дрожа от холода, прони-

зывающего до костей, ехать на трамвае на отдаленную окраину города на спортивную базу. Здесь мы получали допотопные лыжи с застегивающимся креплением, которое постоянно ослабевало и падало, и нам приходилось так идти десять километров через лес в соответствии с висевшим на соснах обозначениями. Иначе мы бы не получили зачет! Если впервые в жизни встать на лыжи, то эта задача требует немалых усилий. Я добросовестно двигался по большому снегу, и почему-то мне не пришло в голову, что можно было по примеру одного из наших положить орудие пытки себе на плечо и спокойно идти, время от времени останавливаясь, чтобы перекурить, а лыжи надеть уже на последнем километре перед финишем...

Позже мы узнали, что катание на лыжах стало обязательным со времен войны с финнами, которые отлично владели этим искусством и, как по уткам, стреляли в неуклюже двигавшегося противника.

* * *

Что касается меня, то я была на «вы» с физкультурой еще со школы. Я особенно терпеть не могла прыгать через «козла», но и другие упражнения вызывали у меня трудности. Я с детства каталась только на велосипеде и на коньках, и мне нравилось плавать. На лыжи я просто не пошла, на остальные занятия я ходила через раз с большой неохотой. Мне

как-то зачли плавание и махнули на меня рукой: – чего ожидать от иностранки... Наш староста Романов был понимающим. Поэтому у меня не осталось никаких неприятных воспоминаний, кроме страха – а вдруг не зачтут и что тогда?

* * *

В первый же день в перерыве перед нами с Антонием выросли две девушки – студентки нашего курса – и предложили нам помощь во всем; Галя (фамилии я уже не помню), довольно полная, круглолицая с маленькими губками в форме сердечка, сложенного для поцелуя, и Инна Старицкая, стройная блондинка с толстой косой, заплетенной узкой бархатной лентой. Они были одеты в темно-синие платья с белыми воротничками. Я не помню, чтобы они одевались как-то иначе. Помощь состояла в основном в совместных прогулках по городу, проходивших в неизменно сырые и холодные дни, которые парализовали мысли, связанные с теплой комнатой в общежитии. Я в основном молчал, скованный абсолютным незнанием языка, время от времени выдавливая из себя какие-то односложные слова. Антон (так мы его называли) свой убогий, приобретенный в основном на курсе перед отъездом русский (в школах этот язык еще не учили) эксплуатировал по максимуму, отвечая на постоянно задаваемые вопросы (иностранцы в то время были редким явлением). В связи с чем наши беседы были ни о чем. Мы в

ответ приглашали в оперу. У нас было много денег (нам сначала платили тысячу рублей стипендии, потом семьсот рублей, местные же получали несколько десятков рублей). Мне стыдно сказать, но мы покупали билеты на самые дорогие места. Богатеи!

На лекциях я обычно сидел рядом с Инной. Она тоже была поглощена манией переписки под журчание преподавательского голоса (в огромной аудитории можно было этим заниматься безнаказанно). Под влиянием сердечного порыва я однажды написал на листе бумаги, которую подсунул Инне: «Я тебя люблю». Она в ответ написала: «Я тоже». Я не знал, что это слово, имеющее два значения в польском языке: «нравиться» и «любить», может означать только последнее. Я имел в виду первое. А Инна поняла второе, и когда однажды вечером я проводил ее до дома – она жила возле нашего института, а не в общежитии – она обняла меня за шею на лестничной клетке и поцеловала. Нас спугнула вездесущая консьержка, увидевшая нас в окне, несмотря на темноту. Я позорно сбежал, в панике, может быть, даже был рад, что так все закончилось? Ведь я лишь хотел сказать, что она мне понравилась, не более того... Скоро моя эмоциональная жизнь должна была принять иной оборот, продолжающийся и по сей день.

Однажды я спросил Инну, занялись ли они нами по заданию комсомольской организации или по собственной инициативе. Она возмутилась – это была их собственная идея.

Сегодня у меня есть некоторые сомнения, но скорее всего ошибочные.

Когда я вернулся в общежитие, свет в комнате уже был погашен. Но ребята не спали, они ждали. «Как было?! Как было?!» – закричали хором.

* * *

В нашей группе нас, иностранцев, было трое – кроме меня, два албанца (Лачи и Мойсиу – к сожалению, я не помню их имен). Высокие, очень красивые, хорошо одетые, они знали несколько европейских языков. Я не заметила, чтобы им нравилась какая-нибудь из наших одногруппниц; они со всеми были одинаково вежливы. Какая их ждала после приезда карьера? Удалось ли им найти интересную работу после охлаждения отношений со сталинской Албанией?

Девушек на курсе, а не только в нашей группе, было большинство. С нами учились пятеро русских: С. Берлин, Н. Богачов, А. Норкин, В. Резапкин и В. Романов. Из них двое были чуть постарше, они ходили в поношенной военной форме со споротыми погонами, имели военный опыт, чем выгодно отличались от других. Нашим старостой был, как помню, Романов, как и большинство местных мужчин – невысокий, коренастый, на носу у него были проволочные очки. Одной из его задач было следить за дисциплиной, не прогуливает ли кто, готовятся ли все к занятиям, и тому подобное. Одна-

ко я не заметила, чтобы он цеплялся, скорее смотрел сквозь пальцы, особенно на мои выходы, к чему я еще вернусь. Он с удовольствием хвастался своими успехами у дам. Я запомнила одну из таких историй: «У меня, – рассказывал он, – кисуля в городе. Я прихожу, кисуля в халатике. Я вхожу – халатик вон...». Кисуля в городе, несомненно, способствовала смягчению нравов.

Я подружилась с двумя державшимися вместе девушками, которые жили в городе: Аней Оникул и Ларисой Вайнштейн. Они отличались от других, были лучше одеты, более начитаны. Мы вместе готовились, а когда я более-менее освоила русский, мы начали беседовать. Как правило, ни о чем, только институтские вопросы, обсуждение преподавателей (кроме тех, кто читал марксизм), одежду, театральные представления. Через какое-то время в нашу беседу начали врезаться иные реалии – запретные слова: «блокада», «голод»... Иногда о блокаде вспоминала также знакомая библиотекарь из Театрального института – Лида Карелина, с которой мы познакомились через семью Сыкалов – Эву Здзеховскую и Романа Сыкалу. Она была актрисой, он – режиссером, и жили не в общежитии, а в... гостинице «Европейская». Лида рассказывала об ужасном голоде, о том, как в уксусе вымачивали ремни и любые другие кожаные вещи, чтобы утолить голод, как ее спрятали от жадных глаз распухшего из-за недоедания дяди... На лекциях и семинарах на тему Отечественной войны можно было услышать слово «блока-

да», но о том, каким она была кошмаром, сколько жителей погибло от голода, ни разу не было упомянуто.

* * *

Нас пытались пропитать духом коллективизма по образу окружавшего нас общества. Необходимо было хорошо учиться, это было очевидным, лучше было очень хорошо учиться, но было желательно и даже требовалось коллективное обучение. Это требовали даже не русские комсомольцы, а наше Землячество. Вероятно, в этом безумии была своя методика, которая должна была обеспечить лучшую успеваемость, но она также была инструментом контроля, и при этом всеобъемлющего, начиная с общественной и политической позиции, способа мышления, и заканчивая даже не знаю чем. У меня все было просто: нас на русском филфаке было двое – Кмита и я, так что нам было легко договориться, когда мы зубрим и проверяем друг друга, а когда мы занимаемся по отдельности. Мы доверяли друг другу и не собирались никого информировать о том, как мы готовимся к экзаменам.

Это не всегда выглядело так идиллически. Артуру Сикоре, с которым нас сблизила общая любовь к языкам (крайне одаренный в этом направлении, он схватывал все, что только мог в нашей многонациональной студенческой среде), не повезло так, как мне. Его партийная коллега на филологиче-

ском факультете Университета имени Андрея Жданова Зося Гадзинянка пищала на каждом общем собрании: «Товарищ Сикора не хочет учиться вместе со мной коллективно!». В конечном счете, Артура отстранили от учебы. Не только из-за того, что он избегал коллективного обучения, но и еще за какие-то подобного рода прегрешения. Измученный постоянными требованиями принимать участие в коллективных мероприятиях, в том числе в учебе, которая ему легко давалась, он написал письмо, обвиняя своих товарищей по Землячеству в «фашистских методах». На общем собрании Землячества была произведена публичная экзекуция. Собрание вел то ли Тадеуш Качмарек, то ли Живя Богушевская, наши «вожди» (позже они были коротко в браке). Перед тем, как задать вопрос «Кто против?», было заявлено, что каждый должен объяснить, почему он не согласен. Я не был готов к этому, хотя я был возмущен идеей исключить из нашей группы именно Артура, такого исключительно талантливо-го любителя лингвистики. Однако застигнутый врасплох, я не нашел необходимых аргументов. Поэтому я воздержался. Один я. «За» поднялся лес рук.

* * *

У меня было то преимущество, что я была одна на факультете и ни с кем не должна была учиться, только если бы мне этого очень хотелось. Это было не единственное такое

кошмарное собрание. Куда более опасным оказалось «дело Вацки». На то собрание нашего ленинградского Землячества приехали из Москвы представители посольства. Они сидели в президиуме и задавали вопросы. Из них следовало, что Вацка Кубацкая, высокая, слегка полная блондинка, которую мы мало знали, потому что она училась в другом вузе, систематически отправляла кому-то посылки, тем самым нарушая какой-то важный запрет. Считалось, что за это преступление она должна была немедленно покинуть Ленинград. Я и Ренэ, мы ничего не поняли, но мы даже не осмеливались задавать дополнительные вопросы, не говоря уже о том, чтобы воздерживаться при голосовании. Нам уже успели внушить страх иметь особое мнение. О «деле Вацки» пишет Патрик Бабирацки в статье о польских студентах в СССР⁶⁵, которая вышла в 2007 году в журнале «Ab Imperio», однако причины ее исключения из вуза в представленных ему документах он так и не нашел. Как спустя годы нам объяснил один из наших друзей, который, как и мы, на всю жизнь запомнил то собрание, речь шла об отправке посылок Леопольду Окулицкому, приговоренному по «делу шестнадцати» к десяти годам тюрьмы⁶⁶. Ни Вацка, ни те, кто

⁶⁵ См. *Babiracki P. Imperial Heresies. Polish Students in the Soviet Union 1948-1957 // Ab Imperio. 2007 № 4. P. 199–236.*

⁶⁶ Процесс шестнадцати – показательный судебный процесс над 16 руководителями польского движения сопротивления – Польского подпольного государства, проводившийся советскими властями в Москве в конце июня 1945 г. После ареста и похищения советской стороной в конце марта 1945 г. во время встречи,

дал ей это поручение, не знали тогда, что «Недзвядек» уже давным-давно умер...⁶⁷

* * *

Эти общие собрания были настоящим кошмаром, к счастью, они созывались не слишком часто. Они проходили по другую сторону Невы в какой-то большой университетской аудитории. В другой собирался наш хор, к которому я с нетерпением присоединился, так как мне нравилось орать вторым голосом. Я также любил репетиции, потому что ведущий, худой блондин с веселыми глазами, смешил нас, уже не помню как. Так что я не стал пропускать эти занятия, которые, кроме того, считались участием в «общественной работе». Этот хор был не просто пением во славу муз. Должен был состояться большой польский концерт, праздничный художественный вечер: чтение, песнопения, польские народные песни, монологи – не дай Бог! – юмористические и выступление нашего хора. Из всего перечисленного я, прежде всего, помню чудовищное исполнение на уже упоминавшемся аккордеоне известного «Кавалерийского мар-

посвященной будущему составу польского правительства, в Прушкове, они были вывезены в Москву, где впоследствии были осуждены по обвинению в преступлениях против Красной Армии. *Прим. пер.*

⁶⁷ «Недзвядек» – псевдоним Леопольда Окулицкого. Умер, возможно, был убит в тюрьме 24 декабря 1946 г. *Прим. пер.*

ша». Под звуки известной мелодии я мысленно пел: «И он обос... и он обос... и он поскользнулся и упал на ж... и упал ж... и упал на большой валун». И я краснел из-за исполнителя перед какой-никакой музыкальной публикой. Мы выходили толпой, и я услышал слова по-русски: «Ну и Демьянова уха!». Явно это была оценка наших артистических усилий через сравнение с басней Крылова, ставшей синонимом чрезмерного и продолжительного гостеприимства.

* * *

Вот, что я писала об этом мероприятии в письме от 29 апреля 1950 года: «Дни текут довольно однообразно. Мы подготовили вечер польско-советской дружбы в одном из ленинградских театров. Был посол, у которого мы были на приеме «с бокалом вина» – рассказывали о нашей жизни.

Вечер прошел хорошо, его хорошо поставили коллеги из Театрального института. Был только слишком длинным – продолжался до полуночи, а поскольку общей темой был „Путь польского пролетариата к социализму“, то не обошлось без язвительных замечаний, что вечер был „(...) долгий и мучительный как путь польского пролетариата к социализму“. Еще кто-то вспомнил о басне Крылова...».

Подобным образом тянулись и общие собрания Землячества, во время которых нас идеологически воспитывали: сначала зачитывался реферат, написанный как под копирку на основе изданий «Нове дроги» и «Трибуна Люду», или, возможно, книжки агитатора, затем следовала якобы спонтанная дискуссия. На всякий случай она была подготовлена заранее, а я однажды исполнял роль диспутанта. Товарищ Коваль предложил мне выступить на очередном собрании (предложение звучало как приказ).

– О чем? – спросил я.

– О классовой борьбе в Белостоцком районе. – Действительно, оттуда я выехал на учебу.

– Какой борьбе? За что? – я вытарашил глаза.

– Ну, в Белостоцком районе. Возьмешь последний журнал «Нове Дроги», там об этом подробно написано. Выступишь.

Я взял его, подготовился, а как же. Я сидел рядом с Романом где-то посередине большой аудитории. Я поднялся с листком в руке, чтобы заявить свое участие в дискуссии, когда Роман вырвал его у меня из рук, говоря: «Только без бумажки». Я пробубнил свое, без шпаргалки. Но переживал страшно. Меня даже похвалили.

На этих бесконечно тянущихся заседаниях не понятно было, чем заняться. Все ходили курить, я тоже поднял руку,

чтобы пойти курить. Было хотя бы хоть чем-то заняться до окончания собрания. Наконец мы расходимся. Какое же я испытывал чувство облегчения. Никогда больше не повторившееся.

* * *

Характерно то, что партсекретарь Тадеуш Качмарек, автор книги «Признания ярого коммуниста», вспомнил только три случая, когда его «принуждали» со своими товарищами подать заявление о возвращении студента в страну: один раз из-за неудовлетворительных результатов учебы, второй раз из-за романа с «советской студенткой» и третий за «прослушивание западных радиостанций». Он не отметил, ни высылку Артура Сикоры, ни «дела Вацки», о котором он должен был знать куда больше нас (как исполнительный секретарь он не мог не говорить об этом с представителями посольства Леонардом Похорылесом и Госевой, которые специально приехали на эту встречу из Москвы). Он не допускал мысли о том, что все усилия, направленные на «воспитание нас», могли вызвать сопротивление и истинное нежелание, даже ненависть к этим партийным супругам, которые, на наш взгляд, олицетворяли все недостатки польского Землячества.

Несмотря на то, что он признается в ошибках, совершенных со всей партией, он полностью удовлетворен своей де-

ательностью: «(...) считаю, – объясняет он в своей книге, – что мы выполняли полезную роль и в целом проделали большую, хорошую работу. Прежде всего, благодаря нашим инициативам и конкретным формам работы нам удалось сплотить сообщество, а одновременно мы не дали им оторваться от Польши. Этой цели служили собрания (...) с рефератами, информацией, с участием (...) представителей государственной администрации, партийных властей или представителей посольства в Москве. Этому способствовали, хотя это может показаться смешным, обязательные политинформации, организованные в каждом общежитии»⁶⁸.

Как это было на практике?

Однажды меня вызвали к властям Землячества – я не знаю, были ли это партийные власти – чтобы я объяснил, как я получил французское гражданство (Как они об этом пронюхали? – Понятия не имею). Я оказался в беде, потому что я помнил, что мой отец, который сам оставался гражданином Польши, подал заявление о моей натурализации. Меня спас от объяснений сын Винсента Пстровского, который заседал в правлении благодаря заслугам своего отца, известного передовика. Он сказал, что, если не было возражений со стороны родителей, французские власти предоставляли французское гражданство всем тем, кто родился во Франции, по достижении совершеннолетия. Мне удалось вывернуться. Рыться в биографиях было любимым занятием партийных и моло-

⁶⁸ См.: *Kaczmarek T. Wyznania zdeklarowanego komucha. Warszawa, 2003. S. 94.*

дежных организаций. Это было свидетельство их активности и бдительности. Активность была главной задачей. Неважно, в чем она выражалась. Например, Данута Кишко (вскоре после замужества Виткова) прославилась тем, что на каждой из встреч, будь то в нашем институте или на общем собрании студентов, она вставала и трубила о необходимости «связи со страной», чем и заслужила мнение о себе как об активистке.

* * *

Я написала в письме от 2 марта 1950 года Папе и Зосе после возвращения в Ленинград: «Я сблизилась с людьми, отделились от меня те, кого я не любила, остались лишь те, кто мне был сердечно дорог: милые русские девушки и двое чрезвычайно симпатичных польских коллег. Мне они очень нравятся, и мне действительно очень хорошо с ними [речь, конечно, шла о Романе и Ренэ – В. С.]. На нашем Землячестве пришли к выводу, что можно примирить учебу с общественно-организационной работой, и с каждый днем ее становится все больше – я работаю над организацией выставки к 1 мая о Польше, и еще должна делать культурные обзоры об издательских и театральные новинках в Польше и СССР – это даже интересно, но это занимает много времени».

Трудно сказать, пришлось ли мне проводить эти «культурные обзоры». Скорее всего, нет...

Польская пресса доходила до нас выборочно («Трибуна

Люду», «Пшиязнь»), зато нас постоянно проверяли на знание материалов, печатавшихся в советских газетах. Зная, что наступает момент «экзамена», мы закрывались в своих комнатах и начинали быстро изучать «Правду» за целый месяц, пытаясь извлечь какое-то содержание из длинных речей Андрея Вышинского и других выдающихся деятелей. Мы ненавидели прессу до такой степени, что мы не касались ее во время каникул и еще долгое время после возвращения в Польшу. Однажды Ренэ встретил на улице Варецкой Анджея Вирта, который спросил, видел ли он свою статью, опубликованную в «Культуре». Конечно, Ренэ не видел, и только тогда побежал в ближайший газетный киоск, чтобы купить этот еженедельник.

Первомайская манифестация и начало большой любви

После осенне-зимнего ненастья наконец наступила весна. Ленинградская. Листья на деревьях зеленые, но маленькие, редкие. Зелень севера – это не зелень юга. Или даже центрально-европейских стран. Но уже прекратил дуть холодный ветер с моря, воздух стал мягче. Ощущала это моя голова, без котелка из серого каракуля, который я носил зимой, и выглядела в нем будто «un prince du Nord», как много лет спустя в репортаже о Польше написала наша подруга Жаклин Шабо, французская журналистка.

Вечер дружбы был уже позади, теперь мы готовимся к трем дням празднеств: завтра 1 мая. Где-то около шести утра нас будят. Староста выдворяет нас из комнат, запирает их, мы спускаемся по лестнице в полубессознательном состоянии, сонные – вскоре несколько приходим в себя, нам кричат: «Давай, давай!». Формируем ряды, движемся к Невскому и поворачиваем налево. Вокруг гул, смех; я все никак не могу проснуться, но меня окончательно приводят в себя удары по спине твердыми разноцветными, наполненными опилками, мячиками на резинке. Обязательная атрибутика первомайских праздников. Сопrotивляться бесполезно. Можно лишь обернуться и отплатить натянутой улыбкой.

Я оказался рядом с коллегой с исторического факультета –

невысокой девушкой, печально бродившей по коридорам в темно-синем теплом халате до пят, о чем-то все размышлявшей и о чем-то грустившей. Мы были героями двух собраний подряд, но я не ощущал к ней особой симпатии, хотя мы троим с Романом беседовали то об одном, то о другом.

* * *

Мои ощущения были несколько иными. В приводимом письме от 29 апреля 1950 г. после того, как я описала подготовку к праздникам («Во всем общежитии идет общая уборка: мытье полов и окон, стирка штор и белья. В студенческих домах – подготовка к товарищеским вечерам, в магазинах полно покупателей, город уже сегодня выглядит праздничным. Уже неделю как на всех факультетах всех вузов проходят торжественные собрания, которые объединены со студенческими вечерами с танцами»), я нахожу следующие предложения: «Знаете, у меня еще никогда не было таких фантастических друзей, как Роман и Ренэ, – мне с ними действительно хорошо, беседы интересные и насыщенные. Они такие свежие, здоровые юноши, лишенные всякого дендизма, донжуанства и пр.». «Здоровые», конечно, в моральном смысле...



Как бы то ни было, мы шли бок о бок по Невскому проспекту, останавливаясь всей нашей колонной на каждом перекрестке, где следующие демонстранты присоединились к нашей процессии. Неизвестно почему, нам становится очень весело, мы постоянно о чем-то болтаем, смеемся как старые друзья. И так до самого Литейного, т. е. до следующего перекрестка, где уже мы присоединяемся к большему шествию. Здесь мы должны ждать сигнала. Это длится довольно долго. Вновь молодежь развлекается, играя в цветные шарики на резинках, что нам кажется нелепым. Мы начинаем подмерзать, было бы неплохо чем-то разогреться. Следом за несколькими нашими товарищами мы заглядываем в кафе на углу. Называется оно «Кафе-Автомат». Покупаются жетоны, один для кофе или какао со сгущенным молоком, второй для вкусной дрожжевой булки с изюмом или глазурью. Жетон бросается в щель, затем ставится кружка под медный кран – и готово. Булка вынимается из шкафчика. Позднее, во время доставлявших нам огромную радость прогулок по прекрасному Невскому, где тогда не было таклюдно, как в последующие годы – в Ленинграде было очень сложно получить прописку, а без нее нельзя было купить билет и приехать в город – мы часто заходили в это славное место. Мы заметили тогда, что жидкость по-разному наливается в чаш-

ки: иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Однажды случилось так, что после того, как я бросил жетон, мне пришлось дольше обычного ждать, пока кружка наполнится. Я начал беспомощно оглядываться и заметил небольшой проход между стенкой с кранами для кофе и какао. Я заглянул туда и что же увидел? В дверях за стенкой стояла женщина в белом чепчике и халате с кофейником в руке, которая начала вливать содержимое туда, куда следовало. Только тогда из моего крана потек горячий кофе. После этого открытия мы с еще большим удовольствием посещали наш «Автомат» и рекомендовали его всем знакомым, отправлявшимся в Ленинград. Сегодня уже этого кафе нет. Все преобразилось и теперь там открыт элегантный ресторан с грилем или что-то в этом роде. Жаль...

Затем был дан сигнал начать движение. Мы шли и шли в огромной процессии с транспарантами, знаменами и флажками, время от времени мы останавливались, и новые колонны присоединялись к нам, все было организовано и отработано уже давным-давно. Уйти было невозможно – повсюду стояли конные патрули или грузовики. В конце концов мы добрались до Дворцовой площади, где были сооружены трибуны. Мы прошли мимо стоящего на них высшего руководства и смогли наконец разойтись и вернуться в общежитие, а там – упасть на кровать и уснуть. Все уже уснули, когда я услышал тихий стук. В дверях стояла моя спутница по демонстрации в своем темно-синем длинном халате. В ее ком-

нате спала среди остальных эстонок свернувшись калачиком Хели Вахтер, будущая жена Романа. Я ушел оттуда на рас-свете. Началась новая, полная счастья жизнь.

* * *

Жизнь полная счастья, но и мучений. Мы начали пропускать самые скучные лекции и пристрастились ходить в кино. На все. На утренние и вечерние сеансы. Лишь бы быть вместе в темном зале и, обнявшись, глядеть на экран. Репертуар был очень разнообразным, потому что в это время массово демонстрировались так называемые трофейные фильмы. Перед показом фильма шла надпись: «Этот фильм взят в качестве трофея Советской Армией...», никакой предварительной информации о киностудии, актерах, даже оригинального названия. Иногда Ренэ вспоминал, что смотрел этот фильм во Франции как, например, великолепный фильм «Мятеж на „Баунти“» с Чарльзом Лотоном и другие. Мы также с радостью ходили в кафе, в знаменитое кафе «Норд», которое на наших глазах на волне борьбы с космополитизмом было переименовано в «Север» (сегодня это кафе-ресторан Север-Норд, и запахи из кухни мешают наслаждаться кофе и пирожными); а французские булки стали тогда называть городскими и т. п. Это нас очень забавляло, мы мало знали о страшных последствиях этой борьбы. Мы также ходили в дешевые рестораны, где заказывали яичницу из американского

яичного порошка и вино (!), иногда в «Асторию» на что-нибудь эксклюзивное – там, кстати, бывал сам Аркадий Райкин в окружении красивых девушек. Кстати, в связи с этим яичным порошком я не могу отказать себе в удовольствии привести произошедший анекдотичный случай: яйца в магазинах были редко в продаже, быстро исчезали; в такой ситуации оказался один клиент, у которого уже был чек об оплате этого куриного лакомства, но оно как раз закончилось. И кассирша крикнула на весь магазин: «Маша, перебей гражданину яйца на яичный порошок!». И вновь у нас была причина смеяться и тема для рассказов. Вскоре нам перестало хватать рублей на такой образ жизни, несмотря на высокую стипендию. Пришлось начать одалживать и одуматься. Тем более что приближались экзамены, и мы начали бояться, что не сдадим и нас исключат из института. А репутацию свою мы уже подмочили.

* * *

Мучением – помимо этого страха, оправданного или вызванного чрезмерной чувствительностью, также было обязательное посещение школ, где приходилось говорить о Народной Польше, о достижениях, которыми мы обязаны – как же иначе! – нашему могущественному соседу («Пример Советского Союза, Дружба Советского Союза, Помощь Советского Союза – это источник наших побед» гласил вывешивае-

мый на протяжении многих лет лозунг). Чаще всего нас приглашали вместе с группой студентов из соцстран, которых отправляли в наш институт учиться в социалистическом духе. Они должны были заменить старую профессиуру и специалистов – они готовились занять высокие должности. Забегая вперед, скажу, что Польский Октябрь⁶⁹ помешал им сделать быструю карьеру в Польше, ибо он восстановил кафедры и вернул многих людей, отстраненных в 1949–1956 годах от преподавания. Они появлялись в первых рядах лишь в 1968 году на знаменитой встрече в Зале конгрессов во Дворце культуры и науки в Варшаве, когда Гомулка был осви-стан и отовсюду кричали: «Герек! Герек!». Тем временем, они вселяли в нас постоянный страх, что нас могут как-то подставить, в том числе во время таких школьных встреч. На одной из них вместе с албанцами, болгарами, еще кем-то были и мы вдвоем в качестве представителей Польской Народной Республики. Я должен был выступать последним. Все, кто говорил передо мной, заканчивали свои выступления, громко и уверенно произнося: «Да здравствует товарищ Сталин!» и добавляя еще какой-нибудь обязательный эпитет. В какой-то момент мне от этого лизоблюдства стало плохо, и я шепнул своей спутнице:

⁶⁹ Польский Октябрь, или «Гомулковская оттепель» – события октября 1956 г., сопровождавшиеся острым внутривнутрипартийным кризисом в ПОРП, польско-советским противостоянием, завершившиеся сменой партийно-государственного руководства ПНР, десталинизацией и определённой либерализацией режима.
Прим. пер.

– Я обойдусь без этого!

– Ты с ума сошел? – прошептала она.

Это могло плохо кончиться. И не за такие глупости можно было вылететь из института...

В детских садах и младших классах самым распространенным предложением было: «Спасибо дорогому Сталину за наше счастливое детство!». Нам рассказывали о неприятностях у родителей, чей ребенок во время какого-то собрания оговорился, произнеся: «Спасибо счастливому Сталину за наше дорогое детство!». Мы опасались впрок.

Роман как-то, между прочим, сказал нам, что нам предстоит часть летних каникул провести в трудовом студенческом лагере, и там надо будет проявить себя с лучшей стороны. Мы постоянно встречались, потому что он приходил к Хеле, а Ренэ ко мне. Нам не нужно было скрываться, а им следовало, поскольку за запрещенные отношения их могли отчислить. В отличие от нашего секретаря, который «был вынужден» согласно распоряжению ПОРП выслать за аналогичное «преступление» нашего коллегу в Польшу им помогла однокурсница, комсомолка, которая занимала какую-то важную должность в комсомольской организации. Она заступилась за влюбленных и соответствующим образом обосновала их поведение. В результате они оба закончили педобучение, и когда Роман возвращался в Польшу, Хели была беременна. Они все продумали. Роман безуспешно пытался получить разрешение на ее приезд с ребенком, пока одна-

жды кто-то не сказал нам, что запрет на браки с иностранцами в СССР снят. Мы первые позвонили ему сообщить эту радостную новость. Мы были на вокзале, когда наш счастливый друг встречал жену, на которой женился в Таллине, вместе с сыном. Это был уже 1954 год. Мы общались с ними всю жизнь. А бывшая комсомолка – Аня Попова, жена бригадира из Западной Сибири, позже посетила их в Польше; приезжал и ее сын, мастер спорта. И любовь, и дружба выдержали испытания временем...



В Белостоке у родителей; слева: сестры Ренэ Марыся и

Ирена, Виктория и Ренэ; стоят справа: мама Ренэ, сестра Денис (Данка) и ее подруга Н.



После приезда в Варшаву в 1950 г. Руины Старого города;
Ренэ и Виктория у памятника Килиньскому

* * *

Тем временем мы в срочном порядке принялись за учебу. Мы ходили в *красный уголок*, вставали чуть свет, чтобы, выпив бурду под названием кофе, очнуться и нацеловавшись вдоволь приступить к зубрежке в бесконечно ремонтируемых комнатах последнего этажа. В конце концов мы как-то справились и сдали все на одни пятерки и могли уже ехать на каникулы. Варшава тогда только начинала восстанавливаться.

Пророчество Романа сбылось – после посещения Варшавы и Белостока нас отправили в студенческий лагерь в Звежинец в Люблинском воеводстве. Вопреки опасениям, к нам только несколько дней относились с опаской, затем мы почувствовали симпатию к коллегам, обучающимся в Польше (они были намного более свободными, без этой подозрительной бдительности, говорили, не используя официальные клише, любили смеяться). Это был отдых, несмотря на различные обязанности. 1 августа 1950 года я писала «моим дорогим»: «Мы работаем до обеда – вяжем снопы, полем, помогаем во время жатвы; после обеда мы совершенно свободны, а поскольку вокруг очень живописно, то мы очень приятно проводим время».

7 августа я продолжала в следующем письме: «В отличие от ленинградской атмосферы недоверия и слезки – здесь есть группа «прекрасной» молодежи, здоровой и симпатичной, которая действительно нас очень тепло приняла, дали нам большую свободу, поверив в нашу способность к организованному и честному труду. (...) Меня даже веселит то, что я вижу их удивление от того, что два человека, которые делают все вместе, не убегают от остальных, как это обычно бывает, а наоборот, постоянно берут на себя новые обязанности, хотя это ограничивает их свободу».

В результате мы произвели «хорошее впечатление» и получили очень хорошую характеристику, которая в какой-то степени повлияла на нашу дальнейшую судьбу. Мы вернулись в Ленинград, чтобы продолжить учебу на втором курсе, в чем мы до этого до конца совершенно не были уверены – теперь же гора спала с наших плеч. После этого мы поехали навестить родителей Ренэ в Белостоке.

На втором курсе. Визит в ЗАГС

Занятия начинались 1 сентября. Мы приехали заранее.

Нужно было, как всегда, делать пересадку в Москве, где у нас был целый день впереди. На этот раз мы ехали с важным поручением: Тамара, работавшая с Зосей в «Проблемах», воспользовалась возможностью, чтобы передать своей маме и тетке какую-то одежду. Мы получили адрес и указание, что если никого не будет дома, то мы сможем найти тетку в магазине «Фрукты Таджикистана» на Горького (теперь снова Тверская). И действительно по указанному адресу мы нашли только соседа и поэтому поехали к тетке. И тут произошла сцена, после которой мы долго не могли прийти в себя – женщина в белом халате хваталась за голову, в ужасе спрашивая, что мы сказали соседу, и все повторяла: «Что будет, что будет? Вы сказали, что вы из Польши? Что вы для меня что-то привезли?». Не помогли объяснения, что времена изменились, что мы – студенты, здесь находимся официально, из Польской Народной Республики... Женщина не могла успокоиться, и мы с трудом всучили ей привезенную посылку. После возвращения в Польшу пани Тамара сказала нам, что ее родственники, которых после Октября удалось вывести в Варшаву, перекрасили всю эту одежду в черный цвет, чтобы не обращать на себя внимания. Хотя я знала, что такое страх – я пережила оккупацию в Варшаве – я никогда

не сталкивалась с подобным проявлением ужаса. Таким образом мы получили еще один сигнал, что в этой стране происходит что-то странное. Потом еще исчез «комендант» нашего общежития, спокойный и добрый, никто не хотел говорить, что с ним случилось (заболел или нашел другую работу?). А однажды ночью кто-то выпрыгнул из окна дома рядом с нашим общежитием; раздался крик, стук тела о бетон и наступила ужасная тишина. И тоже никто об этом не говорил. Вероятно, это произошло вскоре после нашего приезда в Ленинград.



Отец Виктории на отдыхе в Выдмины на озерах Мазуры, представленный как рабочий на отдыхе в ПНР

Оказалось, что я буду жить не со своими очаровательными эстонками, а с пятью русскими в пристройке на Мойке; Ренэ была выделена комната с двенадцатью товарищами, в основном тоже русскими. Девочки оказались редкими ханжами. В комнате они раздевались и одевались под одеялом; злились на меня за то, что я это делала открыто или за то, что при них мылась в тазу. Они ходили в баню раз в неделю, и им этого было достаточно. Я лишь раз посетила этот храм, действительно один к одному как в рассказе Зощенко «Баня». Бадьи, тазы, грязный пол, залитый водой, стекавшей в слив, вызвали у меня отвращение. Я не могла себя побороть. В общежитии на Желябова была, по крайней мере, ванная комната с несколькими кранами с холодной водой.

Однако самой большой неприятностью был громкоговоритель, называемый «колхозником», который орал, не переставая. Утром меня будили кремлевские куранты, затем гимн, потом зарядка, какая-то информация, представляемая, не известно зачем, ужасно пафосным голосом, затем снова зарядка и так далее. Никому из них это не мешало, они просыпались сами, чтобы что-то съесть, одеться и побежать на занятия. Когда я купила будильник и попросила выключать радио на ночь, они восприняли это как прихоть, но пошли мне на встречу.

Нам некуда было податься, – оставалось лишь кино, и нужно было начинать трудиться. По субботам и воскрес-

ням красный уголок превращался в танцевальный клуб. В отличие от Ренэ, мне очень нравились танцы, но мои случайные партнеры вызывали у него неудовольствие. Мы с завистью поглядывали в нашем общежитии на комнаты на двоих, где жили супружеские пары. Однажды, когда мы, бродя по городу, остановились у одного из каналов, я, с грустью глядя на воду, сказала: «Эх, если бы мы были женаты, может быть нам бы дали комнату на двоих?!». Ренэ закивал и ответил что-то вроде: «Почему бы и нет?». И уже 7 октября 1950 года мы оказались в ЗАГСе (сокращение означает «Запись актов гражданского состояния»), расположенном на Невском возле Фонтанки, с целью регистрации. Свидетелей не требовалось, поэтому мы никому не сообщили. В мрачной комнате сотрудница в поношенном костюмчике забрала у нас документы, что-то там нацарапала, поздравила и сказала забрать через две недели. Со стены глядел на нас сурово и пронизательно Иосиф Виссарионович. Потом мы побежали в театр на «Бесприданницу» Александра Островского. И в установленный срок мы получили забавно звучащий для польского уха документ о заключении бракосочетания: «Свидетельство о браке». Слово «брак» по-польски означающее «дефицит», по-русски значит «супружество».

Мы также не организовывали никакой вечеринки по этому поводу – мы ни с кем кроме Романа не дружили, кроме того, у нас был неприятный опыт: узнав, что мои ленинградские товарищи были в Варшаве, Зося решила пригласить их

на чай домой, на Жолибож. Пришло несколько человек, среди них Чеслав Коваль. К чаю был какой-то сок и печенье. Потом, когда каким-то образом разговор сошел на эту тему, оказалось, что у нас были мелкобуржуазные привычки, потому что и Зося, и мы якобы косо глядели, как ребята наливали сок в стаканы вместо того, чтобы в чайные ложки (!), и вообще в общезжитии мы едим с тарелок и пьем из стаканов, а не как все «по-пролетарски», то есть с газеты и из банок, одним словом, мы показываем свое превосходство... Поэтому нам не хотелось иметь еще какие-то проблемы.

* * *

Так что лучше было ни о чем не упоминать и вместо того, чтобы приглашать гостей, лучше было ознакомиться с одним из произведений из списка литературы к экзамену по истории русской литературы XIX века – «Бесприданницей». Читал лекции по этому предмету профессор или, возможно, доцент Сергей Васильевич Касторский, известный своими работами о Горьком. Он даже неплохо читал лекции, хотя они были странные, потому что в них не упоминалось ни о Достоевском (он оставался только автором раннего произведения «Бедные люди»), ни о поэзии и прозе Серебряного века (в то время сурово осуждался модернизм).

Однажды он упал в обморок во время лекции. Я подскочил к кафедре, и мы с однокурсниками перенесли его обмяк-

шее тело к стоявшей перед институтом машине. Он немного пришел в себя уже в своей квартире, куда мы его отвезли, и поглядел на нас полным благодарности туманным взглядом. Единственная четвертка в моей зачетке была с его подписью за сдачу русской литературы XIX века. Он спрашивал меня о Некрасове и его гражданской поэзии; она не была мне близка, поэтому я мало что знал о ней; я читал, скорее, Толстого и других великих писателей этого века. По правде говоря, только в Польше я по-настоящему познакомился с великой русской литературой XIX–XX веков, изучая ее под покровительством Северина Поллака. Я не хочу сказать, что годы, проведенные в Институте Герцена, были в этом отношении потерянными годами. Нет. Однако мне не дано было пережить того воодушевления, которое я ожидал от занятия гуманитарным направлением. Времена этому не благоприятствовали. Полученные пятерки тоже ни о чем не говорили: тройка означала лишение студента стипендии, а несколько двоек – отчисление из института, поэтому их вообще не ставили. Кроме того, преподаватель или лектор, который поставил бы слишком много низких оценок, считался бы плохим педагогом, который не может приобщить к работе своих учеников. Так что даже этот урезанный и соответствующим образом препарированный материал не усваивался в полной мере студентами. Я не говорю о нас двоих, потому что мы как раз учились прилежно (за исключением предметов исключительно идеологических).

Мы продолжали бегать на «трофейные» фильмы. Через широко открытые весной окна в аудиториях часто были слышны молодые голоса, имитирующие крики Тарзана, потому что в качестве «трофея» были привезены из Германии фильмы с ним. Мне он напоминал о детстве, когда я каждую неделю ходил в кино с родителями, так как им не с кем было меня оставить.

Время от времени мы также посещали рестораны, и однажды решили попробовать по рюмке русской водки. Мрачный официант спросил, какую подать; мой ответ («Чистую») возмутил его: «А у нас грязной не бывает». Правильно следовало заказать: «белую». И такие ошибки были у нас сплошь и рядом, как и у всех плохо знающих язык и путающих из-за схожего звучания консервную банку с «пушкой», а «кровать» с галстуком...

Мы были поражены огромным количеством калек на улицах и в институте. Было также много студентов с раскосыми глазами, о которых говорили, что они с севера России. Они были очень милые.

Иногда вместе с нашими товарищами мы обедали на тогдашней улице Грибоедова (когда-то и сейчас вновь Екатерининский канал, тот самый, на котором Александр II погиб от бомб народников). В дверях стоял старый бородатый швейцар в темно-синей обшитой золотом ливрее. Однажды он рассмешил нас до слез, когда Антоний Витек вручил ему крупную купюру за то, что тот подал ему пальто, и услышал в

ответ: «Благодарю покорно, ваше высокоблагородие!». Маленький, тощий Витек – высокоблагородие...

Витек вызывал у меня особое чувство страха в сочетании с отвращением. Он получал какое-то невыносимое удовольствие от того, что делал гадости. Они всегда заставляли меня врасплох – будь я на улице, в кино, в театре, в общежитии. При этом они были настолько безнадежно глупыми, что я даже не могу привести ни одной. И я не мог избежать его компании, потому что мы должны были вести «коллективную жизнь», вместе ходить в театр, в кино и на экскурсии. Иногда у меня было впечатление, что его приставили ко мне вместе с Брахом, этот был немного выше, еще более отвратительный и грубый – чтобы они сообщали, кому следовало, что я думаю и как себя веду. Эти двое как будто были взяты из прекраснейшего романа Федора Сологуба «Мелкий бес», который я перевел спустя несколько лет. В то время на лекциях даже не упоминалось имя этого автора.

В первом семестре нам не удалось получить комнату, о которой мы мечтали. Поэтому мы украдкой ходили в кино, пропуская менее интересные лекции, и наши русские старосты смотрели на это сквозь пальцы. О наших «преступлениях», нарушении учебной дисциплины так и не узнал ни один из контролирующих нас товарищей. Вот радости то было бы у них! В это время наша группа увеличилась – на истфак приехали две милые студентки: Хенрика Квятковская (потом вместе с мужем Ежи Свенцким, работавшая в

Министерстве иностранных дел) и Нюся Курцевич (она вышла замуж за однокурсника Казимежа Курписа и работала преподавателем в Гданьском университете), а на филфак – Янина Зайонц (будущий автор популярных романов о жизни трудной молодежи) и Янка Казимерчак (по мужу Салайчик, ныне профессор Гданьского университета на пенсии). Приехали также и новые ребята, но никто из них не вызвал у нас симпатии. Особенно мы старались избегать Эдмунда Сташиньского, которой получил поручение проверять нас на знание прессы, о котором я уже рассказывал, и некоего Тадека Малиновского, которого считали бандитом. Его любимым развлечением было метание ножа в дверь. Был еще молодой человек по фамилии Заневский, который прославился тем, что женился на дочери генерала, развлекавшей нас претенциозными разговорами, пытаясь при этом объяснить все иностранные слова (например: «Вы понимаете, что такое декольте?»); однако она недолго прожила в Польше – жизнь со скромным преподавателем в провинциальной Зелёной Гуре ее не устроила.

Холодная война была в разгаре. Хотя «наши» газеты и радио не развязали – как на Западе – военной истерии и не писали об угрозе ядерного конфликта, однако без перерыва трубили об американской агрессии, и в той или иной форме этой пропагандой были пронизаны все лекции и семинары. На занятиях – за некоторыми исключениями – преобладала ужасающая скука; повторялись одни и те же лозунги, на-

стойчиво цепляемые чуть ли не ко всему. В Польше на эту тему ходили стишки и анекдоты («Трумэн, Трумэн, скорее на кнопку нажми, сил терпеть у нас нет!»). Или вот еще была история про гуралья, который в ответ на вопрос, как ему живется, отвечал: «Выжить то как-то еще можно, но надоели до смерти!»). У нас были похожие впечатления, но мы ни с кем ими не делились.

Борьба с «американщиной» – стилем жизни и политикой – преследовала нас повсюду. На экзамене по всеобщей истории я вытянул вопрос: «Реакционная политика США на Филиппинах». С этой реакционной политикой во всех возможных сторонах света я был прекрасно знаком, нам вколачивали в голову ее целый год, но здесь следовало говорить о чем-то конкретном. Ничего мне не приходило в голову – я ждал либо двойки, либо чуда. Внезапно я заметил, что в поле зрения сидящего ко мне боком экзаменатора, который экзаменовал мою однокурсницу, пока я готовился к ответу, не попадает брошюра «Программа по всеобщей истории для...». Я быстрым движением руки пододвинул ее к себе, и чудом открыл на этих Филиппинах. Мне хватило доли секунды, чтобы «сфотографировать» представленные в ней тезисы, а разбавить их не составило труда.

Кроме того, в Педагогическом институте требовалось обязательное прохождение практики по преподаванию литературы и языка в школе. Нас отвел туда преподаватель методологии, а во время урока присутствовала классная руково-

дительница. Мы проходили практику в пятом классе, а потом в десятом, т. е. в последнем, потому что в СССР тогда была десятилетка. Мы преподавали попеременно – Антон Францевич и Ренэ Леонович, то есть я. Так к нам обращались. Женская школа. Пятый класс. Девочки в коричневой форме и белых блузках. Сосредоточенные, вежливые, спокойные, сияющие: урок будут вести «товарищи поляки»! Из-за границы! Сначала по литературе. Я получил для разбора «Разгром» Фадеева – его лучший ранний роман. Как все прошло – выветрилось полностью из моей головы. Думаю, неплохо, потому что я ценил это произведение, и мне не пришлось выкручиваться. Потом был урок русского. Я тоже ничего не помню. Но у Антона Францевича случился казус во время работы. Он написал «бульон» через «ио», а не с мягким знаком перед «о». Девочки разинули рты. Они знают, как пишется это слово. Но в растерянности молчат. Через некоторое время встает учительница, русская матрона, поперек себя шире, с большим пучком на голове, подходит к доске, берет тряпку, убирает несчастное «ио», вставляет правильный мягкий знак со словами: «Антон Францевич невнятно пишет».

Кроме этих двух уроков будущий учитель должен был провести так называемый «политчас», то есть своего рода классный час по политвопросам. Удовольствие для класса необыкновенное – два поляка, Антон Францевич и Ренэ Леонович, расскажут о своей стране, о том, как там живут ее

граждане, и покажут фотографии через «эпидиаскоп» (используемая во всех школах того времени разновидность проектора). В какой-то момент Антона Францевича понесло и, указывая на какой-то дворец, вырезанный из журнала «Пшиячулка», он заявил что-то вроде следующего: «Вот дворец в таком-то и таком-то городе; до войны здесь были детские ясли. Сейчас тоже. До войны только дети аристократов и буржуазии могли ходить в эти ясли. Теперь же, конечно, рабочие и крестьяне отдают своих детей сюда». Я в свою очередь показывал фотографию своего тестя, плещущегося в озере в качестве рабочего, пользующегося отпуском. Ученицы ничему не удивлялись. Подводя итоги занятий вместе с нашим методистом, учительница-матрона сказала: «Девочки остались очень довольны». Мы тоже. Мы повторяли эти слова по-русски всякий раз, когда происходило что-то хорошее, но с небольшими трудностями.

Эти занятия должны были быть тщательно подготовлены. Только после анализа «конспекта» можно было приступить к уроку. Одна из наших одноклассниц серьезно отнеслась к этой задаче; ее конспект начинался со слов: «Стучу в дверь. Вхожу. Девочки встают. Я: «Добрый день, девочки!». Девочки: «Здравствуйте, Анна Ивановна!» и так до самого конца. Подготовленный таким образом на целый урок материал молодая учительница исчерпала через двадцать минут и, не зная, что делать дальше, скрестив полные руки, оперлась на скамейку и сказала: «Ну, а теперь, девочки, давай-

те посидим». Учительнице не оставалось ничего, кроме как объявить об окончании урока. Ей эту практику, кажется, не зачли.

* * *

Я также должна была пройти практику в какой-то школе. Однако это было настолько чуждо мне, что даже не помню, как все прошло. Более того, из-за частых рассказов о яслях для аристократов и буржуазии я начала верить, что это произошло во время нашего общего с Ренэ и Антеком Кмитой классного часа, но они оба это отрицали.

* * *

Наше Землячество старалось также – как об этом с теплотой вспоминает Тадеуш Качмарек – воспитывать нас различным образом. Поэтому во всех учебных заведениях организовывались встречи с представителями комсомола на тему «социалистической морали». Однажды меня вызвали в университет в совет Землячества и поручили мне провести такую дискуссию в нашем институте. Я получил стопку брошюр, чтобы я мог к ней подготовиться, в том числе там был очерк Калинина по этому вопросу, а также какие-то рекомендации, смысл которых я едва мог понять. Итак, я выбрал

дату и, уведомил указанного мне комсомольца и всех «герценовцев» о дне и времени собрания в нашем красном уголке.

После моего краткого вступления должна была состояться дискуссия. Она была достаточно вялой. Чеслав Коваль сознательно положил конец хаотическим обменам мнениями, попросив представителя комсомола выступить и высказать свое мнение по этому вопросу. Что ж, дело оказалось чрезвычайно простым: тощий молодой человек задал себе и нам вопрос о том, что является моральным, и был явно удивлен высказываемым сомнениям. Затем он кратко и сжато объяснил, что моральным является то, что провозглашает и требует от нас партия. Кажется, оторопел не только я. Никто больше не высказался, и собрание на этом завершилось. Мне его не засчитали как удачное и больше не доверяли подобных задач. С опозданием они, вероятно, поняли, что я не был членом партии, и поэтому не умею «организовывать» дискуссии – я не подумал о том, чтобы заранее раздать всем текст выступления, взятый из переданных мне материалов; тогда можно было бы избежать хаоса и все прошло бы гладко.

Я не принял этого близко к сердцу. Самое главное, что я от этого отделался и считал довольно забавным воспоминанием о своей наивности и простоте этических решений.

Однако нам пришлось пройти подготовку по польскому рабочему движению. Мы получали брошюры Тадеуша Данишевского и Станислава Арнольда. Основываясь на них и,

возможно, на некоторых других работах этого типа, мы по очереди должны были выступить. Более находчивые коллеги зазубривали кусок и сразу рвались отвечать. Неизвестно, почему я прочел все; как оставшийся последним, я мало что мог сказать. Наиболее ценились выступления на тему развивающейся классовой борьбы и ошибках «люксембургиазма». Почему их внимание привлекла тайно убитая Роза Люксембург, я не понимал. Тех, кто вел эти семинары – они приходили из совета Землячества – я запомнил как исключительно тупых и исключительно недружелюбных, даже агрессивных, людей. Лишь однажды приехал на семинар Люциан Доброшицкий, которого мы сразу полюбили и называли нашим «добрым падиком». Он проводил занятия спокойно, с улыбкой, почему-то хотелось высказаться или задать вопрос. Мы продолжили дружить с ним в Варшаве, где он жил со своей женой Фелой и дочерью Иоасей (в то время он работал в Институте истории Польской академии наук), а также после их отъезда в Соединенные Штаты. Мы продолжаем бывать друг у друга и после смерти Люциана, и то и дело созваниваемся теперь во время пандемии.

* * *

Между тем нас больше всего беспокоит отсутствие нашего собственного угла. Подружившаяся с нами Клава, которая отвечает за постельное белье и другие подобные вещи, а

также София Самойловна, которая обслуживает «титан»⁷⁰, в котором в определенное время должен быть кипяток для чая или мытья посуды – обе по-тихому сообщают нам, что рядом с этим «титаном» есть небольшая комната, которую легко можно обустроить, будет тесноватый, но зато свой угол. И вот свершилось чудо! Во втором семестре нам выделили это неиспользуемое, забитое какими-то ненужными вещами складское помещение. Счастливые, мы начали «обу-страиваться», но вскоре выяснилось, что мы не одни – ночью выходили на охоту голодные клопы. К счастью, вскоре появились в общежитии одетые во все белое «клоподавы» с пульверизаторами и белым, очень эффективным порошком. Однако ненадолго мы остались без клопов, потому что часть студенток закрылась и не дала провести дезинфекцию – видно, они привыкли к обществу клопов, которые затем снова расползлись повсюду. Мы же людей в белом с пульверизаторами всегда приветствовали радостными криками, доставляя им тем самым искреннюю радость. Гораздо меньшую радость у нас вызывали «полотеры». Они систематически появлялись с ведрами, полными красно-оранжево-коричневой мази, которой они мазали полы в комнатах и коридорах, аудиториях и вообще везде, где это было возможно, зачастую это был старый паркет. Интересно, что этим занимались только мужчины. Затем они надевали на обувь щетки, закрепляли их ремнями и терли то, что намазали «до

⁷⁰ «Титан» – дровяной или угольный водонагреватель. *Прим. пер.*

блеска», переходя к следующему месту. Они были – как те крестьяне с топорами, ждущие на базарах клиентов, которым нужно порубить дрова для печей, о которых еще будет речь, как будто перенесенные из другой эпохи. Вероятно, это был сельский обычай, который теперь стал использоваться в городе. У нас, привыкших к белой пасте для полов и полотерам, это вызывало удивление, и цвет паркетного пола после такой процедуры был отвратительным. Профессия полотера была известна с давних времен, но тогда паркет натирали воском, а не цветной мазью (согласно словарю, полотер – это работник, натирающий паркетные полы, то есть тот, кто наносит воск и полирует его щетками).

Комнатка способствовала учебе, но перед отъездом на каникулы я поняла, что забеременела. Мы решили положиться на судьбу и поэтому заранее обеспечить комнату для нас троих. Я была абсолютно уверена, что мы справимся – я сдам экзамены заранее, так что в конце года их будет меньше, мы привезем из Польши все, что необходимо малышу, а родители мужа, у которых была пятилетняя дочь – будущая тетья, обязательно придут на помощь. И мы не ошиблись в этом. Однако в ректорате не без оснований были полны сомнений.

Ренэ написал следующее заявление перед отъездом 23 июня 1951 года:

*До Зам. Директора по адм. – хоз. части тов. Бохмана
От студента II курса литературного факультета
Педагогического института им. А. И. Герцена
Сливовского Ренэ*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне и моей жене, студентке II курса исторического факультета, Заленской В. сем. комнату на учебный год 51–52, так как мы ожидаем ребенка в I семестре того же года.

/ – / Сливовский Ренэ

Рядом наискосок фиолетовыми чернилами с датой 27 июня виднелась резолюция тов. Бохмана: «Отказать». Заявление, конечно, было написано на русском языке.

Уезжая, мы уже знали, что не обойдется без проблем. Однако, как это бывает в молодости, мы не принимали этого близко к сердцу, были уверены, что «все обойдется». Мы уведомили родителей и родственников обо всем, а затем поехали обратно в Польшу после сдачи всех ежегодных зачетов и экзаменов. Мы беззаботно провели каникулы в Видмины в Мазурии, осматривая заодно памятники архитектуры. Бывшие немецкие городки были безлюдными, разграбленными и пугали черными дырами вместо окон. Немного лучше выглядел замок в Мальборке.

В Варшаве моя любимая тетья Эля занялась подготовкой распашонок, ползунков и, самое главное, труднодоступных подгузников, изготовляемых из хорошо впитывающего и легко стираемого материала. Как следует из нашей семейной переписки, мы думали о том, как устроить новорожденного в ясли, мой отец даже начал вести беседы на этот счет со знакомыми, имевшими контакты с польским посольством в Москве!

Молодые родители и учеба. Летние каникулы

После возвращения в Ленинград нас поселили по отдельности по решению товарища Бохмана. Сегодня мы уже не так возмущены, как тогда – каждый будь на его месте отказал бы! Откуда проректор должен был знать, что мы окажемся такими прилежными и ответственными студентами? Кроме того, он имел дело с иностранцами! А с ними никогда нельзя быть ни в чем уверенным... Самый простой способ – не дать разрешение, и нет проблемы! Хуже того, мы оказались расселены в разных местах: я – на Мойке, в комнатке на нескольких человек, отапливаемой дровами, в действительно ужасных условиях, а Ренэ, как и прежде, – в общежитии на Желябова, только в комнате, где было десяток с лишним человек. Однако снова каким-то чудом (благодаря кому – я уже не помню) мы вскоре получили отдельную комнату, снова в бывшем «Медведе», превращенном в общежитие, где так приятно рядом с «титаном» прошел второй семестр 1951 года. Я чувствовала себя прекрасно, ходила на лекции и семинары, становясь все более круглой, без льгот я сдавала заранее экзамены, потому что мне все удавалось, я все понимала и могла свободно все выразить. Только роды все откладывались, и над нами подшучивали, говоря, что ребенку так хорошо, что он не хочет покидать своего поме-

щения и начать жить в не лучшем из миров.

Беременность и рождение сына привели к тому, что наше Землячество махнуло на нас рукой – поскольку мы сдавали зачеты и экзамены, сложно было от нас что-то требовать. Я уже больше не ходила на собрания, а Ренэ бывал через раз.

* * *

Когда ожидаемый день, наконец, наступил, поздно вечером 29 января 1952 года я проводил жену в роддом, расположенный на улице Маяковского. Мы шли по Невскому, пешком, было тихо, сыпал снег, падая большими хлопьями на пальто. Мы были совершенно беззаботны, мы ничего не боялись. Что может случиться плохого с нами, такими радостными? Мы добрались до такси и приехали на место.

В тот день мы оба верили в нашу счастливую звезду. Я написал родителям: «29-го в 2 часа ночи я отвез ее на такси, до которого она дошла сама. Она никогда не проявляла страха перед тем, что ее ожидало. Но только когда она, уже одетая в „казенный халат“, пришла попрощаться со мной, ее губы сильно дрожали, а в глазах с легкостью можно было заметить страх».

Оставив ее там, я вернулся в пустую комнату и приступил к генеральной уборке, чтобы избавиться от не испытываемого мной ранее душасащего чувства беспокойства.

В больнице я провела – вопреки ожиданиям – двенадцать дней. Все это время мы писали друг другу письма два раза в день, поэтому сегодня я могу рассчитывать не только на свою память.

Я оказалась в большой палате с высокими кроватями. Я лежала там очень долго, так что насмотрелась! Успело родиться восемь детей, в том числе близнецы у женщины-инвалида без ног, прежде чем появился наш потомок, которого мы называли из-за смуглого цвета лица и за черные вихры Бамбо, как в стихотворении Юлиана Тувима⁷¹.

Уже 29 января я писала Ренэ карандашом: «Все это продолжалось четырнадцать часов. Как раз была дежурной та врач из консультации и еще несколько других – они отнеслись ко мне очень тепло. (...) Они не цацкаются, но делают все, чтобы тебе помочь. (...) Я потеряла много крови, но мне сразу же перелили пол-литра советской [!] крови, и теперь я чувствую себя прекрасно. (...) Кормят здесь очень хорошо – примерно на уровне столовой на Грибоедова – утром хлеб (белый) с маслом и чаем, затем творог и молоко, обед из трех блюд (щи, мясо, кисель) и готовый ужин. Пока я ем

⁷¹ Наш ровесник Бамбо / В Африке живёт. / Чернокожий Бамбо / С солнышком встаёт. / Он уходит в школу / Рано, на заре. / Он уже читает / Буквы в букваре. Пер. В. Приходько. *Прим. пер.*

все с большим аппетитом. Вот почему мне хочется только фруктов».

30 января я продолжала: «Так что я чувствую себя хорошо, очень хорошо. И я должна сказать, что в большой мере благодаря местным условиям. Я считаю, что делается по максимуму все, что возможно, и я не уверена, что дома обо мне лучше бы заботились. Как всегда – самые сердечные – это „русские бабушки“, всевозможные „няни“, „уборщицы“ и т. д. Хотя работа у них очень тяжелая, они всегда в хорошем настроении, постоянно довольны жизнью. Одна очень забавная, она разносит нам еду и питье, без перерыва приготавливая „Ешьте, мамочки, ешьте“. Сложно даже повторить эти постоянные реплики в отношении „мамочек“, насколько полезно пить молоко или есть хлеб с творогом».

Слово «реплики» я неправильно использовала – в ответ на замечания нянечек лежавшие рядом со мной «мамочки», которых я тоже с юмором описывала, подчеркивая, что они «не жалуются», делали «очень меткие и крайне остроумные замечания о жизни». Как жалко, что я их не записала!

Ренэ, в свою очередь, узнав, что стал отцом, чуть не попал под машину, чему свидетелем была одна из уборщиц, с которой мы подружились, она сначала испугалась, а потом обрадовалась. В его письме от 30 января я прочла: «Каким-то образом Мария Ивановна, наша „уборщица“, там оказалась. Я рассказал ей все, что знал. Она была очень довольна. Вообще очень приятно, когда видишь, что людям не безразлично,

что они радуются вместе с тобой...».

Действительно, наши знакомые по учебе также проявляли немало теплых чувств, что в т. ч. было отражено в очень забавном письме ко мне, в котором описывалось, как мои институтские подруги, ни на кого не обращая внимания, повисли на шее счастливого «папки», как и на подаренной нам прекраснейшей коляске, которая также служила кроватью (коляска была «рижского происхождения»).

В первой палате нас было одиннадцать: «(...) все с юмором, спокойные и любят свежий воздух», а главное: «(...) радио работает только время от времени». Затем меня перевели в другую часть больницы – там женщины были несколько более примитивны (а назойливый громкоговоритель гудел все время). Больше всего их удивляло, о чем можно столько писать друг другу. У большинства не было мужей (война!), а те, у кого были, беспокоились, сохраняют ли они им верность. Я записала: «(...) они говорят об изменах, которые довелось пережить, о ссорах дома, о мучительных родах и детях, которых не хотелось и больше не хочется, и если появятся, будут лишь обузой и т. д. и т. п.».

6 февраля я снова писала: «Знаешь, у нас в „палате“ очень интересные разговоры; недавно произошла ссора по поводу культуры: одна заявила, что русские некультурны, другая сказала, что процент „грамотных“ в СССР самый высокий и поэтому это самый культурный народ. А первая говорила о разнице в поведении иностранцев или даже русских, кото-

рые жили на Западе, от местных, которые хамистые, неотесанные, без воспитания и манер. И в качестве доказательства она сказала, что ее „приятельница” была в Польше и говорила, что у нас любой крестьянин живет как барин, и каждая крестьянка играет на фортепьяно после работы. Было очень смешно слушать. Затем они говорили о высоком уровне жизни в Германии и Чехословакии и т. д. и т. д.

Еще одно, что вызвало у меня шок, так это удивительная суеверность этих женщин: с виду культурная, и вдруг начинает рассказывать тебе о том, кто кого «сглазил» в ее семье, как кто-то заболел, кто-то умер, как нельзя во время беременности ходить на похороны, а длинная пуповина бывает тогда, когда переступаешь через веревки, как нужно сплунуть через плечо, если гость говорит что-то, – ты не представляешь».

Я хотела как можно скорее вернуться в наш «дом», в общежитие, но врачи отказывались выписать из-за плохих результатов анализов. Поэтому я продолжала писать письма и ждала ответов. Они прекрасно передают атмосферу этого прибежища, социального среза и межличностных отношений. Когда стало ясно, что я студентка, мои соседки по палате начали меня сильно жалеть – как я справлюсь с учебой, ребенком, а еще мужа надо обслужить, постирать, приготовить. Меня тогда удивило такое отношение к мужчинам – не только в больнице. С Ренэ мы с удивлением наблюдали, что всю тяжелую работу выполняют здесь женщины в ватниках и

валенках: ремонтные работы, даже сверление тяжелой дрелью с упором в живот. А мужчины сидят в учреждениях, за письменными столами, они контролируют, руководят... Они были, с одной стороны, милые, сострадательные, а с другой – могли проявить невероятную жестокость.

7 февраля 1952 года я писала: «Знаешь, была и до сих пор являюсь свидетелем совершенно чудовищной истории. В нашей палате лежит калека, двадцатитрехлетняя Люба-Любочка; она родила девочку, она – эпилептик, наполовину парализованная. Уже один вид ее вызывает жалость и ужас. (...) Она ненормальная, живет в условиях, судя по тому, что она говорит, не самых лучших. Конечно, ребенок незаконнорожденный, неизвестно чей. И Люба придумала целую историю о том, что у нее есть муж – майор в Севастополе, что пишет, что скоро ее заберет. Все вокруг умирают со смеху, задают ей сотни вопросов, и она с радостью отвечает, не замечая, что они так безжалостно насмеваются над ней. (...) Я и не думала, что бабы могут быть такими жестокими. „Мужа ей захотелось, ладно бы еще придумала, что рабочий, так нет майор – вишь, что удумала” – такие фразы я слышу постоянно. (...) Но это еще не все, теперь ей некуда деться с ребенком, ее мать не хочет и не может взять: она сама тяжело работает, и здесь нужно присматривать и за Любой, и за ребенком. (...) В доме инвалидов нет места для ребенка. (...) Вчера привезли двух маленьких девочек (десять и двенадцать лет – что-то в этом роде) – будут им делать „аборт”. Ужасная история – я

не слышала ее целиком. Это, видимо, не в первый раз».

Хватит этих больничных историй...

Наконец настал день возвращения в общежитие. Дальше все пошло нормально. То один, то другой из нас чувствует себя хуже или лучше. Только Бамбо вечно доволен и ни в чем нам не мешает. Когда мы учимся, он просто хочет быть в коляске, рядом с лампой. Лежит, сучит ножками и не знает, что его привезенные из Польши пеленки и подгузники кипятятся на примусе, а затем будут тщательно выглажены. Гигиена! Однажды эти подгузники с пеленками, кипящие в большом алюминиевом тазу (мой вклад в приданое малыша) на соседней кухне, взлетели буквально на воздух. Видимо, примус забился и произошел взрыв, к счастью, рядом никого не было. Нам досталось лишь много уборки, вокруг было полно сажки, пролитой мыльной воды и пеленок. Пришлось быстро купить новый и приступить к дальнейшему кипячению...

В любое время, когда это было необходимо, но часто и по собственной инициативе, к нам приходила врач. Когда Ренэ заболел ангиной (изначально подозревали даже дифтерию), она приносила какие-то лекарства, что было нелегко, и говорила постоянно мыть руки. Она была нашим добрым духом, ее забота тронула нас, и с тех пор мы прониклись любовью к русским. Действительно, не раз они проявляли в отношении нас свою доброту – со временем все большую.

Пять месяцев нашей жизни втроем пролетело незаметно.

Мне пришлось сдать еще два экзамена – политэкономии и историю СССР. Ренэ готовился к своим. Бамбо, как я уже сказала, совсем не мешал нам – он лежал рядом в своей коляске из Риги и смеялся, когда мы бросали в него подгузником.

* * *

Время от времени мы готовили на электрической машинке грибной суп с пельменями и сметаной (таким образом, мы совершали одно из преступлений – мы вкручивали так называемый «жулик»). Иногда я один ел в соседней столовой, а молодой маме приносил то, что мне советовали официантки. Они относились к нам, не знаю почему, с большой симпатией и давали нам самое лучшее. Студенческий ребенок был всегда в хорошем настроении, ничего не боялся, а качали его под мелодию частушки с рефреном «Моя мама боевая и папаша боевой». Его можно было разбудить посреди ночи, и он сразу был готов к веселью. Поэтому мы брали Бамбу с собой в поездки, плавали с ним вместе на пароходике, чтобы всем вместе любоваться белыми ночами, гуляли в польско-русской компании со знаменитой коляской из Риги, увековеченной на одной из фотографий.

Наконец мы сдали все экзамены, получили зачеты и могли вернуться в Польшу. Остались только билеты, сборы вещей всех троих – и в путь...

Мы вернулись в Варшаву самолетом через Москву; прямого сообщения еще не было. А после каникул, которые прошли в Мрозы в Мазурии в обществе целой сдвоенной семьи, насчитывающей теперь вместе с Богусем, племянником «бабуси Зоси», одиннадцать человек. Мы оставили семимесячного ребенка в Белостоке под присмотром бабушки с дедушкой и теток (самой младшей и самой заботливой было шесть лет!). Варшавские бабушка с дедушкой и дядя Дудек обещали финансовую и другую помощь. Сдержали свои обещания. Извращенцы-родители уехали заканчивать последний год обучения.

До этого – во время этих и предыдущих каникул – мы выливали на головы наших отцов целые ведра критических замечаний и рассказов о худших впечатлениях от Москвы и Ленинграда. Дедушке Леону делали комплименты за участие в войне с большевиками в 1920 году; мы хвалили его за то, что он пошел добровольцем и получил награду, и даже за то, что получил участок земли в Подолии; он, правда, не захотел стать осадником (колонистом) и уехал во Францию. Но благодаря таким людям, как он, Польша не стала семнадцатой республикой! Дедушку Юзефа мы расспрашивали про его отношение к московским процессам и культу Сталина, который у нас вызывал особенное омерзение. Дедушка Леон не хотел ничего слышать, а дедушка Юзеф попытался охладить наши горячие головы, говоря, что у нас есть возможность учиться, получать стипендии, а им это было недоступно.

но, то есть что мы должны принять во внимание одно и другое. Он явно боялся, что нас занесет, и нас выгонят из института. Этого и мы боялись, поэтому мы как улитки прятались в домик и молчали. Мы осознавали весь оппортунизм и испытывали чувство отвращения. Однако оно нас не очень сильно беспокоило.

Снова в Ленинграде. Комнатка у Марии Ивановны. Смерть Сталина

В сентябре мы снова оказались в городе на Неве. Это был, впрочем, месяц относительного отдыха, когда студенты отправлялись «на картошку», помогать с уборкой урожая колхозникам, а иностранцев в это обязательное путешествие не брали; мы, как иностранцы, также не проходили военную службу. Поэтому у нас с Висей было много времени, чтобы наверстать упущенное и в музеях, и в театре. В этом отношении Ленинград был прекрасным местом даже в то время, когда не выставляли всего, что хранится в Эрмитаже и Русском музее.

После возвращения осенью 1952 года наша жилищная идиллия закончилась. Мы не могли рассчитывать на получение отдельной двухместной комнаты. Однако Клава подсказала, что с Пархоменко, начальником ЖКО (жилищно-коммунального отдела) обо всем можно договориться за «титли-митли» (сказав это, она сделала характерное движение пальцами и рассказала обо всех «сокровищах», которые есть у него и его жены. «За что, за эту ничтожную зарплату?», – убеждала она). Все стало понятно – речь шла о взятке. Однако надо было видеть Пархоменко, чтобы понять, почему решение было не из легких. Он бродил по коридорам нашего общежития – довольно долговязый верзила, с вьющейся

ся черной шевелюрой, запавшими под нависавшими лохматыми бровями глазами, один глаз был мертвым, глядящим незнамо куда; он якобы потерял его, когда был партизаном. Поговаривали, что он был начальником какого-то лагеря, и его отослали, потому что он свихнулся. Что это был за лагерь, мы не знали. Тем не менее, я подумал: «Что мешает попробовать?» Я положил триста рублей в карман и пошел в его «кабинет». Я уже собирался постучать, когда вдруг начал сомневаться: не мало ли я взял? Что если он посчитает это провокацией? Будет ли он бояться взять у иностранца? Мое сердце заколотилось, и я воспринял это как сигнал к отступлению. Сегодня я думаю, что я поступил правильно.

Однако мы не могли смириться с тем, что будем жить по отдельности, в общих комнатах общежития, с включенным сутки напролет репродуктором. Я постоянно думал о том, что сделать, чтобы быть вместе. Я читал объявления на застекленных досках, предлагавших сдать комнату. Мы вместе ходили по указанным адресам. Кстати, мы нагляделись, как люди живут в «коммуналках» с общими кухнями, где в глаза бросались стоявшие на столах масляные примусы; редко мы попадали в односемейные квартиры. Когда мы показывали наши документы – «вид на жительство», и оказывалось, что мы иностранцы, то и речи не было о том, чтобы что-то снять. Нам даже не удалось договориться снять так называемый угол, часть комнаты с перегородкой – одна старушка была готова сдать нам свою тесную, загроможденную комна-

ту, потому что она работала по ночам, и мы бы виделись с ней только днем. Но опять же, как только она узнала о нашем статусе, то не захотела нас прописать. «Курица не птица, Польша не заграница» гласит старая поговорка. А тем не менее...

Я продолжал отчаянные поиски. Я расспрашивал всех, кого только мог. И вновь произошло чудо – наша лаборантка в «кабинете методики преподавания русского языка и литературы» Мария Фомина, выслушав мои стоны, сказала, что такую комнату, правда, проходную, но с перегородкой, отделяющей ее от кухни, она может нам сдать. Она была вдовой какого-то чина, не боялась нас прописать, а с двумя дочерьми ей было нелегко обеспечить себя и их.

Она жила в большом многоквартирном доме на улице Дзержинского (бывшая и нынешняя Гороховая), недалеко от нашего общежития, но на противоположной стороне. Именно здесь Захар, слуга главного героя романа «Обломов» Гончарова, вдавался в споры на черной лестнице... У нашей новой хозяйки не было дополнительных кроватей, поэтому, вызвав всеобщее любопытство, мы вдвоем перетащили их вместе с матрасами через Невский и далее. «Двое с кроватью» на главной улице города! Мы останавливались время от времени, чтобы передохнуть. И так мы ходили дважды. А потом еще третий раз, чтобы перенести наш хлам.



Мы снова были одни. Не совсем, но почему-то мы не чувствовали того, что рядом были Мария Ивановна Фомина и две ее дочери – старшая Рита и младшая Маша. Через коридорчик у нашей комнатки они проходили почти неслышно; борьба шла только за громкоговоритель – его машинально включали, и мы – когда появлялась возможность – выключали его. Кухня была только в нашем распоряжении и хозяйки. Теперь мы познавали действительную жизнь ленинградцев. Печи топились дровами. Осенью Мария Ивановна заказала их для себя и для нас. Бревна перевозились на тележках и складировались с указанием, кому принадлежат. Затем мы пошли – в соответствии с указаниями – на знаменитую Сенную площадь (с горестью воспетую еще Некрасовым – «там били женщину кнутом, крестьянку молодую»); там стояли крестьяне в обмотанных тряпьем валенках с топорами и пилами за поясом. Их можно было нанять, чтобы они порубили и частично подняли наверх наши дрова. В то время мы не задумывались о том, кто занимался вырубкой этих огромных деревьев... Потом мы утром топили нашу круглую металлическую печь. Она давала достаточно тепла.

Мы также узнали, почему на улицах нет очередей, лишь иногда они образовывались в больших магазинах. Очереди при этом стояли с заднего двора – там продавались «дефи-

цитные» товары: дешевое мясо, рыба и тому подобное. Муку «давали» два раза в год по заранее подготовленным домовым спискам. Еще ночью, в установленный день, выстраивалась очередь за этими выделенными на человека тремя килограммами – ждали, когда привезут, чтобы не упустить момент. Мы тоже стояли вместе со всеми. В магазинах было полно макарон, круп, а также сушеного картофеля и различных венгерских и болгарских консервов, очень хороших, хотя и дорогих. Поэтому они и стояли на полках магазинов. Однажды мы увидели банку моего любимого вишневого варенья советского производства. Взяв банку, мы заметили на свету косточки. По наивности мы спросили, нет ли без косточек? Продавщица посмотрела на нас с крайним презрением: «Еще вам будет государство косточки вынимать» – был ее полный возмущения ответ. Мы повторяли эти слова с удовольствием в разных случаях. Чем только это бедное государство должно было бы заниматься по желанию своих требовательных граждан! К счастью, никто ничего не требовал...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.